



Жан-Жак Руссо

**Прогулки одинокого
мечтателя**



Жан Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 3. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961.

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ

ПРОГУЛКА ВТОРАЯ

ПРОГУЛКА ТРЕТЬЯ

ПРОГУЛКА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОГУЛКА ПЯТАЯ

ПРОГУЛКА ШЕСТАЯ

ПРОГУЛКА СЕДЬМАЯ

ПРОГУЛКА ВОСЬМАЯ

ПРОГУЛКА ДЕВЯТАЯ

ПРОГУЛКА ДЕСЯТАЯ

Примечания

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ

И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга — без иного собеседника, кроме самого себя. Самый общительный и любящий среди людей оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды. В своей изощренной ненависти они выискали, какое мученье будет жесточе для моей чувствительной души, и грубо порвали все узы, меня с ними связывавшие. Я продолжал бы любить людей против их желания. Только перестав быть людьми, могли бы они отделаться от моего чувства. И вот они мне чужие, незнакомые, никто наконец,— раз они этого хотели. А я — что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне остается еще решить. К сожалению, этому должен предшествовать беглый обзор моего положения. Это ступень, которой мне нельзя миновать при переходе от них к себе.

Вот уже пятнадцать лет и даже больше, как я нахожусь в этом странном положении, а оно все еще кажется мне сном. Мне все представляется, что меня мучает несварение желудка, что я тревожно сплю и скоро проснусь, утешенный в своих огорченьях тем, что увижу себя среди друзей. Да, нет сомнений! Сам

того не заметив, я сделал прыжок из яви в сон или скорой — из жизни в смерть. Вырванный, не знаю как, из обычного хода вещей, я оказался ввергнутым в непостижимый хаос, в котором ничего не различаю; и чем больше думаю о теперешнем своем положении, тем меньше могу понять, где нахожусь.

Ах, как мог я предвидеть участь, меня ожидающую? Как могу я попятить ее теперь, когда она постигла меня? Мог ли я, рассуждая здраво, предположить, что когда-нибудь, оставаясь том самым, кем был, тем, кем остаюсь до сих пор, я прослышу, буду считаться настоящим чудовищем, отравителем, убийцей, что стану извергом человеческого рода, игрушкой черни, что взамен приветствия прохожие будут плевать на меня, что целое поколение станет в полном согласии развлекаться тем, чтобы заживо меня похоронить? Когда совершился этот странный переворот, я, захваченный врасплох, сначала был потрясен им. Мое волнение, негодование довели меня до исступления, которое едва могло успокоиться за десять лет; и в этот промежуток времени, переходя от заблужденья к заблуждению, от ошибки к ошибке, от безрассудства к безрассудству, я доставил своими неосторожными поступками властителям судьбы моей все орудия, которые они умело пустили в ход, чтобы сделать ее непоправимой.

Я долго отбивался — столь же отчаянно, сколь и тщетно. Не обладая ни ловкостью, ни хитростью, ни умением притворствоваться, неосмотрительный, откровенный, прямой, нетерпеливый, вспыльчивый, я, отбиваясь, только сильнее запутывался и давал им все больший перевес над собой, которым они не упускали случая воспользоваться. Наконец, видя, что все мои усилия напрасны, и терзаясь без всякого толку, я принял то единственное решение, которое мог еще принять,— покорился своей судьбе, не идя против неизбежного. Я нашел в этой безропотности возмещение за все свои страдания — благодаря доставляемому ею спокойствию, которое было бы несовместимо с непрерывным трудом сопротивления, столь же тягостного, сколь и бесплодного.

Еще одно содействовало этому спокойствию. Как ни изощрались мои преследователи в своей ненависти, неистовая злоба заставила их позабыть одно истязанье: они не догадались так соразмерить

свои действия, чтобы поддерживать и беспрестанно возобновлять мои муки, все время нанося мне новые удары. Если б у них хватило хитрости оставить мне хоть луч надежды, они этим еще удержали бы меня в своих руках. Они могли бы еще обратить меня в свою игрушку при помощи какой-нибудь, лживой приманки и непрестанно терзать мне сердце муками обманутого ожидания. Но они сразу исчерпали все свои средства. Ничего мне не оставив, они сами лишили себя всего. Клевету, унижения, издевательства, позор, которые они па меня обрушили, уже нельзя ни усилить, ни смягчить; им и той же мере недоступно отягчить все это, как мне — от этого избавиться. Они так поторопились переполнить чашу моей скорби, что нет такой человеческой власти, которая, будь она поддержана всеми кознями ада, могла бы что-нибудь добавить в нее. Даже физическая боль, вместо того чтоб увеличивать мои муки, только отвлекала бы меня от них. Исторгая у меня крики, она давала бы мне возможность удерживаться от стонов, и терзание сердца было бы прервано терзанием тела.

Зачем же мне еще бояться их, если все уже сделано? Не имея больше возможности ухудшить мое состояние, они уже не могут вызывать во мне тревоги. Тревога и ужас — вот страдания, от которых они навсегда освободили меня: это все-таки облегченье. Действительные страдания имеют мало власти надо мной; я легко переношу те, которые испытываю, но не те, которых ожидаю. Мое испуганное воображенье приводит их в сочетанья, переворачивает, растягивает и умножает. Ожиданье их терзает меня в сто раз больше, чем их присутствие, и угроза для меня ужасней самого удара. Как только они приходят, свершенье отнимает у них все, что в них было воображаемого, и сводит их к истинным размерам. Тут я нахожу, что они гораздо меньше, чем я представлял себе, и даже посреди мук все же чувствую облегченье. В этом состоянии, когда я избавлен от всякой новой боязни и свободен от опасений, от надежды, довольно будет привычки, чтобы с каждым днем мое положение, которого уже ничто не может ухудшить, делалось для меня все более сносным; и по мере того как ощущение его притупляется в силу длительности, они теряют возможность оживлять его. Вот добро, которое сделали мне мои преследователи, нерасчетливо исчерпав все возможности излить сполну злобу. Они

лишили себя всякой власти надо мной, и отныне я могу смеяться над ними.

Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как в сердце моем вновь воцарился полный покой. Уже давно я перестал чего-либо бояться; но я еще надеялся, и надежда эта, то успокаивающая, то обманчивая, была моим слабым местом, ибо по этой причине множество разнообразных страстей не переставало волновать меня. Недавно событие, столь же печальное, сколь неожиданное, погасило наконец в моем сердце последний слабый луч надежды и показало мне, что судьба моя здесь, на земле, определилась навсегда и бесповоротно. С этих пор я безоговорочно смирился и обрел мир.

Как только я начал проникать в заговор во всем его объеме, я навсегда оставил мысль при жизни вернуть к себе людей, и, поскольку такой возврат уже не мог быть взаимным, он отныне был мне даже не нужен. Напрасно они снова вернулись бы ко мне,— они уже не нашли бы меня. При том презрении, которое они внушили мне, общение с ними было бы для меня бессмысленно и даже тягостно, и я во сто раз счастливей в своем одиночестве, чем мог бы быть, живя с ними. Они вырвали из моего сердца все радости общения; в мои годы эти радости уже не могут вновь пустить там ростки; слишком поздно. Отныне, будут ли мне делать добро или зло,— все, что исходит от людей, мне безразлично, и что бы мои современники ни делали, они всегда будут для меня ничем.

Но я еще верил в будущее и надеялся, что другое, лучшее поколение, тщательней рассмотрев, как нынешнее судило обо мне и поступило со мной, без труда проникнет в ухищренья его руководителей и увидит меня наконец таким, каков я есть. Именно эта надежда побудила меня написать мои «Диалоги»* и толкнула меня на тысячу безумных попыток передать их потомству. Эта надежда, хоть и отдаленная, держала мою душу в такой же тревоге, как в то время, когда я искал еще в этом веке справедливое сердце, и чаяния мои, напрасно устремлявшиеся вдаль, также делали меня игрушкой людей сегодняшнего дня. Я рассказал в своих «Диалогах», на чем основывал свое ожидание. Я обманулся. К счастью, я понял это вовремя, чтобы изведать еще до наступления своего последнего часа период полной безмятежности и совершенного

покоя. Период этот начался в ту пору, о которой я здесь говорю, и у меня есть основания думать, что он не будет прерван.

Редкий день проходит без того, чтобы новые размышления не подтверждали мне, как я ошибался, рассчитывая на возвращение ко мне людей, хотя бы в другом поколении,— поскольку во всем, что касается меня, ими руководят вожаки, непрерывно выдвигаемые корпорациями, которые относятся ко мне с неприязнью. Отдельные лица умирают, но не умирают сообщества людей. Одни и те же страсти живут в них бесконечно, и их пламенная ненависть, бессмертная, как демон, ее внушающий, всегда одинаково действенна. Когда отдельные мои враги будут мертвы, врачи и ораторьянцы все еще будут живы, и даже если у меня не будет других преследователей, кроме этих двух корпораций, я могу быть уверен, что они не оставят мою память в покое, как при жизни не оставляли в покое меня самого. Может быть, со временем врачи, которых я действительно обидел, и успокоятся; но ораторьянцы, которых я любил, уважал, которым всецело доверял и которых никогда не обижал, ораторьянцы — церковники и полумонахи — навсегда останутся неумолимыми: собственная их несправедливость составляет мое преступление, и этого их самолюбие никогда мне не, простит; а публика, враждебность которой они будут все время заботливо поддерживать и оживлять, не успокоится, как и они.

Все кончено для меня на земле. Тут мне не могут причинить ни добра, ни зла. Мне не на что больше надеяться и нечего бояться в этом мире, и вот я спокоен в глубине пропасти, бедный смертный,— обездоленный, но бесстрастный, как сам бог.

Все, что вне меня,— отныне чуждо мне. У меня нет в этом мире ни близких, ни мне подобных, ни братьев. Я на земле, как па чужой планете, куда свалился с той, на которой прежде жил. Если я что и различаю вокруг себя,— то лишь скорбные и раздирающие сердце предметы, и на все, что касается и окружает меня, не могу кинуть взгляда без того, чтобы не найти там какого-нибудь повода к презрительному негодованию или удручающей боли. Отстраним же от себя все мучительные предметы; думать о них столь же горько, сколь н бесполезно. Одинокий на весь остаток жизни, поскольку лишь в

себе нахожу я утешенье, надежду и мир, я не должен и не хочу заниматься ничем, кроме себя. В этом состоянии я возобновляю то суровое и искреннее исследование, которое когда-то назвал «Исповедью». Я посвящаю последние дни свои изучению самого себя и заблаговременной подготовке к отчету, который не замедлю дать о себе. Отдадимся же целиком отраде собеседования с собственной душой, раз она — единственное, что люди не могут у меня отнять. Если путем размышленья о своих душевных склонностях я получу возможность внести в них больше порядка и устранить зло, которое, может быть, там еще остается, размышленья мои не окажутся вовсе бесполезными, и хоть я не гожусь больше ни па что на земле, мои последние дни не будут совершенно потеряны. Приволье моих ежедневных прогулок нередко было исполнено пленительных созерцаний, и мне жаль, что я утратил воспоминанье о них. Закреплю на бумаге те, которые еще могут всплыть в моей памяти; всякий раз, перечитывая их, я буду переживать их радость. Буду забывать свои несчастья, своих преследователей, свои униженья, думая о награде, которую заслуживало мое сердце.

Эти листки — собственно, лишь беспорядочный дневник моих мечтаний. В них будет много говориться обо мне, потому что размышляющий отшельник неизбежно много занимается самим собой. Впрочем, мысли о посторонних предметах, приходящие мне в голову во время прогулки, точно так же займут здесь свое место. Я буду передавать все, что думал,— в том виде, как это у меня возникло, и с той же связностью, с какою мысли вчерашнего дня сочетаются обычно с мыслями сегодняшнего. Но из этого всегда будет получаться новое познание мрей природы и моего характера па основе чувств и мыслей, составляющих ежедневную пищу моего ума в том странном положении, в котором я нахожусь. Таким образом, на эти листки можно смотреть, как на придаток к моей «Исповеди», но я уже не даю им этого заглавия, так как чувствую, что мне не придется сказать ничего, что заслушивало бы его. Сердце мое очистилось в горниле бедствий, и я, тщательно его исследуя, едва нахожу в нем остатки дурных стремлений. В чем мне еще исповедоваться, если все земные привязанности оттуда вырваны? Мне уже не за что ни хвалить, ни бранить себя: отныне я ничто среди людей, и это все, чем я могу

быть, не имея с ними никакой действительной связи, никакого подлинного общения. После того как я лишился возможности сделать какое бы то ни было добро, которое не обратилось бы в зло, всякой возможности действовать, не вредя ближнему или самому себе, воздержание стало единственным моим долгом, и я исполняю его, поскольку это зависит от меня. Но в этом бездействии тела душа моя продолжает действовать; она еще порождает чувства, мысли, и ее внутренняя, нравственная жизнь как будто еще возросла благодаря смерти всех земных и временных интересов. Тело мое для меня теперь только обуза, только помеха, и я заранее освобождаюсь от него, насколько могу.

Столь необычное состояние, конечно, заслуживает того, чтобы его изучить и описать, и этому-то изучению посвящаю я свои последние досуги. Чтобы сделать его успешным, надо бы вести его по порядку и методически; но я не способен к такой работе, и она даже удалила бы меня от цели, которая состоит в том, чтобы дать себе отчет в изменениях своей души и в их последовательности. В известном смысле я произведу на самом себе те опыты, которые физики производят над воздухом, чтобы знать ежедневные изменения в его состоянии. Я приложу к своей душе барометр, и эти опыты, хорошо налаженные и долгое время повторяемые, могут дать мне результаты столь же надежные, как и у них. Однако у меня более скромные намерения. Я довольствуюсь тем, что буду регистрировать показания, не стремясь свести их в систему. Я ставлю себе ту же задачу, что и Монтень,— но преследую цель совершенно противоположную: он писал «Опыты» только для других, а я пишу свои «Прогулки» только для себя. Если в более глубокой старости, уже приближаясь к концу, я останусь — надеюсь — в том же умонастроении, что и сейчас, то, читая их, буду вспоминать радость, которую испытываю теперь, когда их пишу; воскрешая передо мной таким образом прошлое, они, так сказать, удвоят мое существование. Против воли людей я еще смогу наслаждаться очарованием общения и, уже одряхлевший, буду жить с самим собой в другом веке, как жил бы с другом менее старым, чем я.

Я писал прежнюю свою «Исповедь» и «Диалоги», все время угнетаемый заботой, каким бы способом скрыть их от хищных рук моих преследователей,

чтобы передать, если возможно, другим поколениям. Относительно этого сочиненья такая тревога не мучает меня: я знаю, что она была бы тщетной. И поскольку желание быть лучше узанным людьми погасло в моем сердце, мне глубоко безразлична как судьба подлинных моих сочинений, так и судьба незыблемых доказательств моей невинности, которые, может быть, все уже истреблены и исчезли навсегда. Пусть шпионят за моими действиями, пусть хлопчут об этих листках, пусть их захватывают, пусть уничтожают, пусть подделывают,— все это отныне мне безразлично. Я не прячу их и не показываю. Если у меня еще при жизни отнимут их, у меня не отнимут ни удовольствия от сознания, что я написал их, ни воспоминанья об их содержании, ни одиноких размышлений, плодом которых они явились и источник которых может исчезнуть только вместе с моей душой. Если бы я, испытав первые же бедствия, заставил себя покориться своей доле и решился на то, на что решаюсь теперь, все усилия людей, все их ужасающие козни остались бы для меня без последствий, и всеми своими интригами они возмутили бы мой покой не больше, чем в состоянии возмутить его своими теперешними успехами. Пусть они вдоволь наслаждаются моим униженьем,— они не помешают мне наслаждаться сознанием моей невинности и вопреки им окончить дни свои в мире.

ПРОГУЛКА ВТОРАЯ

Таким образом; задумав описать обычное состояние своей души в самом странном положении, в каком только может когда-либо оказаться смертный, я не видел другого более про-

стого и верного способа осуществить это намерение, как повести подробный отчет о своих одиноких прогулках и тех мечтаниях, которыми они бывають наполнены, когда я даю голове своей полную свободу и позволяю своим мыслям течь беспрепятственно и непринужденно. Эти часы одиночества и размышленья — единственные за весь день, когда я бываю вполне самим собой, принадлежу себе безраздельно, без помех и могу на самом деле сказать, что я таков, каким природа пожелала меня сделать.

Скоро я понял, что слишком медлил с исполнением этого замысла. Воображение мое, уже не столь живое, как прежде, больше не вспыхивает при виде предмета, когда-то его одушевлявшего; я меньше опьяняюсь бредом мечтанья; отныне но всем, что оно создает, больше воспоминаний, чем творчества; все душевные силы мои охватывает какое-то вялое томление; дух жизни мало-помалу угасает во мне; душа моя уже с трудом вырывается из своей ветхой оболочки; и если бы не надежда достичь состояния, к которому я стремлюсь, чувствуя, что имею на него право, я жил бы только в воспоминаньях. И вот, для того чтобы созерцать самого себя до своего упадка, я вынужден вернуться по крайней мере на несколько лет назад,— к тому времени, когда, утратив всякую надежду в этом мире и не находя больше пищи для своего сердца на земле, я мало-помалу привыкал питать его собственным его веществом, отыскивать для него снедь в самом себе.

Источник этот, к которому я прибег слишком поздно, оказался таким изобильным, что скоро вознаградил меня за все. Привычка погружаться в себя привела к тому, что я утратил наконец ощущение своих страданий и даже чуть ли не самое воспоминание о них. Я познал таким путем на собственном опыте, что источник истинного счастья в нас самих и что не во власти людей сделать подлинно несчастным того, кто хочет быть счастливым. Вот уже четыре или пять лет, как я наслаждаюсь теми внутренними радостями, которые любящие и нежные души находят в созерцании. Гуляя в одиночестве, я иногда испытываю восхищенье, восторг и этой радостью обязан моим преследователям: без них я никогда не нашел и не узнал бы сокровищ, которые носил в себе самом. Среди стольких богатств — как вести им верный учет? Вызывая в памяти столько нежных мечтаний, я, вместо того чтоб их описывать, вновь погружался в них. Это состояние, воскресающее при одном воспоминанье, становится непонятным, как только вовсе перестаешь его чувствовать.

Я испытал это во время прогулок, следовавших за решением писать продолженье «Исповеди»,— особенно во время той, о которой я сейчас расскажу, когда неожиданный случай прервал течение моих мыслей и сообщил им на некоторое время другое направление.

В четверг 24 октября 1776 года, после обеда, я прошел по бульварам до Зеленой аллеи, поднялся по ней на высоты Менильмонтана и оттуда, по тропинкам, бегущим через виноградник и луга, пересек до самой Шаронны* всю разделяющую эти две деревни веселую местность; потом я отклонился в сторону, чтобы вернуться по тем же лугам, по другой дорогой. Проходя по ним, я испытывал чувство удовольствия и интереса, которое всегда вызывает во мне живописная местность; иногда я останавливался, чтобы определить какое-нибудь растение среди зелени. Я заметил два таких, которые редко попадались мне в окрестностях Парижа, а в этом округе встречались во множестве. Одно из них, *Picris hieracioides*, из семейства сложных, другое, *Vupleurum falcatum*, из семейства зонтичных. Это открытие обрадовало и очень долго занимало меня и привело к открытию растения, еще более редкого, особенно в высокорасположенной местности,— а именно *Cerastium aquaticum*, которое я, несмотря на происшедший со мной в тот день случай, определил по книге, бывшей при мне, и поместил в свой гербарий.

А затем, подробно рассмотрев несколько других растений еще в цвету, которые мне всегда приятно видеть и определять, хотя они хорошо мне знакомы, я мало-помалу оставил эти мелкие наблюдения, чтобы отдаться не менее приятному, но более волнующему впечатлению от всей картины в целом. За несколько дней перед тем кончился сбор винограда; гуляющих из города уже не было; крестьяне тоже покинули поля до зимних работ. Местность, еще покрытая зеленью и веселая, но уже отчасти растерявшая свой убор и почти пустынная, всюду открывала взгляду зрелище одиночества и приближения зимы. Вид ее рождал смешанное чувство нежности и печали, слишком сходное с моим возрастом и судьбой, чтобы я не сделал этого сопоставленья. Я видел себя на склоне жизни невинной и несчастливой, с душой, еще полной живых чувств, и умом, еще украшенным кое-какими цветами, однако уже смятыми печалью и иссушенными горестью. Одинокий и всеми оставленный, я чувствовал приближение зимы, холод первых морозов, и мое иссякающее воображение уже не населяло одиночества существами, созданными мне по сердцу. Я говорил себе, вздыхая: «Что сделал я здесь, на земле? Я был

создан для жизни, а умираю, не познав ее. Но по крайней мере в этом нет моей вины, и я понесу творцу дней моих если не добрые дела, которых мне не дали совершить, то по крайней мере дань напрасных добрых намерений, чувств святых, но оставшихся бесплодными, и терпенья, равнодушного к людским обидам». Я умилился от

этих размышлений, возобновлял в памяти движения своей души, испытанные в юности и зрелом возрасте, и после того как меня отлучили от общества людей, и в течение долгого уединенья, в котором мне придется кончить свои дни. Я с радостью возвращался мыслью ко всем своим сердечным привязанностям — к чувствам столь нежным и столь слепым, к образам не столько печальным, сколько утешительным, которыми дух мой питался вот уже несколько лет; я готовился припомнить их достаточно ясно для того, чтобы описать с наслаждением, почти равным тому, с каким в свое время им отдавался. Все послеобеденное время прошло у меня в этих мирных размышлениях, и я уже возвращался, очень довольный проведенным днем, как вдруг посреди своих мечтаний был оторван от них событием, о котором мне предстоит рассказать.

К шести часам я находился на склоне Менильмонтана, почти против Галан-Жардинье, когда какие-то люди, шедшие впереди, вдруг быстро расступились, и я увидел, что на меня летит большой датский дог, который, мчась стремглав перед каретой, не имел даже времени при виде меня задержать свой бег или отклониться в сторону. Я решил, что единственный способ не быть сбитым с ног — это подпрыгнуть высоко вверх с таким расчетом, чтобы собака проскочила подо мной в тот момент, когда я буду в воздухе. Эта мысль промелькнула быстрее молнии; у меня не было времени ни обдумать ее, ни привести в исполнение; вслед за ней тотчас произошло несчастье. Я не почувствовал ни удара, ни падения и ничего, что за ними последовало,— до того мгновенья, когда опять пришел в сознание.

Уже почти совсем стемнело, когда я очнулся. Я увидел, что нахожусь на руках у трех-четырех молодых людей, которые и рассказали мне, что произошло. Дог, не сдержав бешеного стремления, кинулся мне под ноги и, сбив меня с разбега грудью,

повалил головой вперед: верхняя челюсть моя, приняв на себя всю тяжесть моего тела, ударилась о неровную мостовую, и падение было тем сильнее, что произошло на склоне, так что голова моя оказалась ниже ног.

Карета, перед которой бежала собака, мчалась вслед за ней и переехала бы меня, если бы кучеру не удалось мгновенно остановить лошадей. Вот что я узнал от тех, которые меня подняли и еще поддерживали, когда я очнулся. Состоянье, в котором я был тогда, слишком странно, чтобы не описать его.

Надвигалась ночь. Я увидел небо, несколько звезд и какую-то ветку. Это первое восприятие было чудным мгновеньем. Я ощущал себя тогда только через это. В этот миг я рождался к жизни, и мне казалось, что я наполняю своим легким существованием все воспринимаемые мною предметы. Все сводилось для меня к данному мгновенью, я не вспоминал ни о чем; у меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности, ни малейшего представления о том, что произошло; я не знал, кто я, где нахожусь; я не чувствовал ни боли, ни страха, ни тревоги. У меня текла кровь, но я смотрел на нее, как смотрел бы на ручей, даже не думая о том, что кровь эта все же моя. Я чувствовал во всем споем существе дивное спокойствие и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мною наслаждений.

Меня спросили, где я живу; я не мог сказать этого. Я спросил, где я; мне ответили: «На Высокой границе». Это было все равно, как если б мне сказали: «На горе Атлас»*. Я был вынужден предлагать один за другим вопросы о стране, городе и квартале, в которых нахожусь. Да и этого оказалось мне недостаточно, чтобы прийти в себя; только пройдя весь путь от места несчастья до бульвара, я вспомнил наконец, где живу и как меня зовут. Один незнакомый мне господин, который оказался настолько милосердным, что проводил меня немного, узнав, что я живу так далеко, посоветовал мне взять у Тампля извозчика, который отвезет меня домой. Я мог ходить совершенно свободно, без всякого труда, не чувствуя ни боли, ни раны, хотя продолжал обильно плевать кровью. Но меня трясло ледяной дрожью и было больно оттого, что поврежденные зубы стучали друг о друга. Дойдя до Тампля, я подумал, что раз мне не трудно идти, то

лучше продолжать путь по-прежнему пешком, чем мерзнуть на извозчике, подвергаясь опасности погибнуть от простуды. Так прошел я пол-лье, отделяющую Тамиль от улицы Платриер, шагая легко, обходя препятствия, экипажи, выбирая дорогу и подвигаясь вперед совершенно так же, как делал бы это при полном здоровье. Прихожу, отпираю замок с секретом, вделанный в наружную дверь, поднимаюсь в потемках по лестнице, добираюсь наконец домой, не испытав иных злоключений, кроме падения и его последствий, которых я тогда еще даже не замечал.

Крики моей жены, когда она меня увидела, дали мне понять, что я изуродован более, чем думал. Я провел ночь, еще не зная и не ощущая своей беды. Вот что я почувствовал и обнаружил на другой день: верхняя губа у меня была рассечена изнутри до носа; снаружи кожа лучше предоохранила ее и помешала полному разрыву; четыре верхних зуба расшатались; часть лица над верхней челюстью страшно вздулась и омертвела; большой палец правой руки оказался вывихнутым и очень распух, большой палец левой сильно поранен, левая рука вывихнута, левое колено страшно вспухло, и сильная, мучительная боль от ушиба не давала ему как следует согнуться. Но при всем этом никаких переломов, даже зубы остались целы — счастье, близкое к чуду при таком падении.

Вот очень точное повествование о моем несчастье. В несколько дней история эта распространилась по Парижу в таком измененном, искаженном виде, что в ней ничего нельзя было узнать. Я должен был бы заранее предвидеть ее превращенье; но к ней присоединилось столько нелепых подробностей, столько неясных намеков и недомолвок сопровождало ее, мне толковали о ней с таким до смешного загадочным видом, что вся эта таинственность привела меня в беспокойство. Я всегда ненавидел потемки, они внушают мне врожденный и невольный ужас, которого не уменьшил и тот мрак, что окружает меня кот уже несколько лет. Среди всех странностей, удивлявших меня и то время, я отмечу только одну, но ее достаточно для того, чтобы можно было судить об остальных.

Г-н ***, с которым у меня никогда не было никаких отношений, прислал своего секретаря * узнать о моем здоровье и передать мне настойчивое

предложение услуг, показавшихся мне в данных обстоятельствах не очень нужными для моего выздоровления. Секретарь его тем не менее очень горячо настаивал, чтобы я воспользовался этим предложением, и даже сказал мне, что если я не доверяю лично ему, то могу написать прямо г-ну ***. Его великое усердие и таинственный вид показали мне, что во всем этом кроется какая-то загадка, которую я напрасно старался разрешить. Этого было слишком достаточно для того, чтобы я испугался,— особенно в том возбужденном состоянии, в какое ввергло меня случившееся со мной несчастье и последовавшая за ним лихорадка. Меня волновало множество печальных догадок, и я высказывал обо всем происходящем вокруг предположения, обнаруживавшие скорей горячечный бред, нежели хладнокровие человека, отрешившегося от всех жизненных интересов.

Другое происшествие окончательно лишило меня покоя. Г-жа *** — я не мог догадаться почему — уже несколько лет заискивала передо мной *. Любезные подарочки, частые посещения ни с того ни с сего достаточно ясно показывали мне, что во всем этом была какая-то скрытая цель, но не обнаруживали, какая именно. Она сообщила мне, что собирается написать роман, чтобы поднести его королеве. Я сказал ей, что думаю о женщинах-писательницах. Она заявила, что этот замысел имеет целью восстановить ее положение, для чего ей необходимо покровительство; на это я ничего не мог возразить. Позже она рассказала, что, не добившись приема у королевы, решили отдать свою книгу на суд публики. Теперь уж дело было не в советах, так как она у меня больше их не спрашивала и не стала бы им следовать. Раньше она заводила речь о том, чтобы предварительно показать мне рукопись, но я попросил ее не делать этого, и она так и поступила.

В один прекрасный день, во время моего выздоровления, я получил от нее эту книгу уже в совершенно готовом виде, даже переплетенную, и увидел в предисловии восхвалении по своему адресу, до того аляповатые и приторные, что был этим неприятно поражен. Грубая лесть, в них сквозившая, была несовместима с доброжелательством; в этом сердце мое не могло ошибиться.

Через несколько дней после этого г-жа *** посетила меня со своей дочерью. Она сообщила мне,

что книга ее наделала много шуму из-за одного места, которое я едва заметил при беглом просмотре романа. Я перечел его после ухода г-жи ***, взгляделся в то, как оно написано, и мне показалось, что я открыл цель ее посещений, ухаживаний, грубой лести в предисловии: я решил, что все это направлено к тому, чтобы навести публику на мысль, будто эти строки принадлежат мне, а значит — ко мне относится и вся брань, которую они могли навлечь на автора при тех обстоятельствах, при которых были опубликованы.

У меня не было никакой возможности положить конец этому слуху и впечатлению, которое он мог создать; от меня зависело только одно — не поддерживать этих пересудов, положив конец ненужным и показным посещениям г-жи *** с дочерью. Вот записка, которую я с такой целью написал этой даме: «Так как Руссо не принимает писателей, он благодарит г-жу *** за ее внимание и просит ее больше не оказывать ему чести своими посещениями».

Она ответила мне письмом, вежливым по форме, но составленным так же, как все, которые пишутся мне в подобных случаях. Я бессердечно вонзил кинжал в ее чувствительное сердце, я должен поверить по тону ее письма, что, питая ко мне такое горячее и искреннее чувство, она не переживет этого разрыва. Это еще раз доказывает, что прямота и всегдашняя откровенность оказываются страшными преступлениями в свете, и мои современники будут считать меня злым и жестоким, даже если у меня не будет в их глазах другого преступления, кроме того, что я не так лжив и вероломен, как они.

Я уже несколько раз выходил из дому и даже довольно часто гулял в Тюильри; по тому удивлению, которое обнаруживали многие при встрече со мной, я понял, что относительно меня имеется еще какая-то новость, мне неизвестная. Наконец я узнал, что в обществе ходит слух, будто я умер от последствий своего падения; слух этот распространился так быстро и держался так упорно, что больше чем через две недели после того, как он дошел до меня, об этом все еще говорили, даже при дворе, как о достоверном факте. Как мне предупредительно написали, «Авиньонский курьер» *, сообщая эту счастливую новость, не упустил при этом случае внести заранее свою долю в ту дань обид

и оскорблений, которыми; готовятся почтить после моей смерти мою память в виде надгробного слова.

Новость эта сопровождалась еще более странным обстоятельством; я узнал о нем только случайно и не мог собрать никаких подробностей. Оказывается, была уже открыта подписка на печатание рукописей, которые будут у меня найдены. Из этого я понял, что наготове держат сборник писаний, сочиненных нарочно для того, чтобы, когда я умру, объявить их моими; думать, что могла быть напечатана в своем подлинном виде какая-нибудь из действительно найденных моих рукописей, было бы глупостью, которая не могла бы взбрести в голову человеку разумному, и мой пятнадцатилетний опыт меня от нее предохранял.

Эти наблюдения, следовавшие друг за другом и сопровождаемые многими другими, не менее удивительными, снова привели в ужас мое воображение, которое я считал угасшим; и этот мрак, беспрестанно сгущавшийся вокруг меня, воскресил весь страх, который он, естественно, мне внушает. Я ломал себе голову, строя тысячи догадок, пытаюсь понять тайны, непостижимые для меня. Единственным бесспорным результатом стольких загадок было подтверждение всех предшествующих моих заключений: участь моей личности и репутации решена в полном, единодушном согласии всем теперешним поколением; никакими усилиями я не в состоянии избежать ее, поскольку мне совершенно невозможно передать что бы то ни было другим поколениям иначе, как через руки моих современников, то есть людей, заинтересованных в том, чтобы все это уничтожить.

Но на этот раз я проник глубже. Нагромождение стольких неожиданных обстоятельств, вызванное, так сказать, самой судьбой, восстание против меня всех самых жестоких моих врагов — всех, кто вершит государственными делами, всех, кто направляет общественное мнение, всех людей с положением, всех особ с весом, как будто нарочно подобранных для участия в общем заговоре из числа тех, кто затаил против меня вражду,— весь этот общий сговор слишком необычен, чтобы быть чисто случайным. Человека, отказавшегося вступить в него, любого события, вставшего поперек дороги, случайного обстоятельства было бы довольно, чтобы сговор этот потерпел крушение. Но все воли, все

неизбежные стечения обстоятельств, все совпадения, как и все превратности, только содействовали человеческому умыслу, и столь поразительное, близкое к чуду сотрудничество не оставляет места сомнениям, что полное торжество его было предначертано в книге судеб. Множество отдельных наблюдений — как в прошлом, так и в настоящем — до такой степени укрепляют меня в этом мнении, что я не могу удержаться от того, чтобы по рассматривать, отныне как одну из непроницаемых для человеческого разума небесных тайн — то самое, что считал до сих пор только плодом человеческой злобы.

Эта мысль не только не кажется мне мучительной и не раздирает мне сердце, но утешает меня, успокаивает и помогает мне смириться. Я не захожу так далеко, как блаженный Августин, который, будь он осужден на вечные муки, утешался бы мыслью, что такова воля божья. Однако покорность моя проистекает из источника, правда менее самоотверженного, но не менее чистого и на мой взгляд не менее достойного того совершенного Существа, которому я поклоняюсь.

Бог справедлив; он хочет, чтоб я страдал, и делает так, чтоб я был невинен. Вот основание моего доверия; сердце мое и мой разум твердят мне, что оно меня не обманет. Пусть же люди и судьба делают свое дело. Научимся страдать безропотно; все в конце концов должно стать на свое место, а — рано или поздно — придет и мой черед.

ПРОГУЛКА ТРЕТЬЯ

*Старею, но по-
прежнему учусь*

Солон * в старости часто повторял этот стих. Я, достигнув старости, в известном смысле тоже мог бы повторить его. Но печально то знание, которым вот уже двадцать лет снабжает меня опыт: неведение было бы все же предпочтительней. Превратность судьбы — великий учитель, без сомненья, — по учитель этот заставляет дорого платить за уроки, и часто польза от них не стоит цены, за них заплаченной. К тому же, прежде чем получишь знание, которое могут дать столь запоздалые уроки,

исчезнет возможность применять его. Молодость — вот время для усвоения мудрости; старость — время для ее применения. Опыт всегда обогащает, — я согласен с этим; но обогащает он только на тот срок, который еще есть у тебя впереди. Время ли учиться, как надо жить, когда пришла нора умирать?

Ах, на что мне знания, так поздно и так мучительно добытые, о моей судьбе и о чужих страстях, созданием которых она является! Я научился лучше разбираться в людях только для того, чтобы сильнее почувствовать несчастье, в которое отш ввергли меня, и уменье это, открыв мне все их ловушки, не могло уберечь меня ни от одной из них. Зачем не сохранил я навсегда ту нелепую, но отрадную доверчивость, которая в течение стольких лет делала меня игрушкой и жертвой моих показных друзей, в то время как я, опутанный всяческими их интригами, не имел об этом ни малейшего подозренья! Я был ими одурачен, был их жертвой, это правда,— по я считал, что они меня любят, и сердце мое, наслаждаясь чувством дружбы, ими вызванным, приписывало им такое же чувство ко мне. Это сладкое заблуждение развеяно. Печальная правда, которую открыли мне время и разум, заставив меня понять мое несчастье, показала мне, что оно непоправимо, и мне остается только смириться. Так вся свойственная моему возрасту опытность теперь мне не нужна, а в будущем бесполезна.

Мы вступаем в состязанье при рождении и прекращаем его умирая. Какая польза учиться лучше управлять колесницей, когда близок конец ристалища? Тут приходится думать только о том, как из него выйти. Если старику и остается чему-нибудь учиться, то только учиться умирать, а это как раз то, чем меньше всего занимаются в моем возрасте: старики думают обо всем, кроме этого. Они цепляются за жизнь больше, чем дети, и покидают ее неохотней, чем молодежь. Это потому, что все их заботы были об этой жизни и под конец они видят, что весь труд их пропал даром. Все свои тревоги, все свое достояние, все плоды своего хлопотливого труда — все покидают они, уходя. За всю свою жизнь они не подумали запастись чем-нибудь таким, что им можно было бы взять с собой умирая.

Все это я говорил себе, когда было еще время, п если я не сумел воспользоваться плодами своих

размышлений, то не потому, что не сделал этого вовремя или что-то плохо из них усвоил. С детства брошенный в житейский круговорот, я рано узнал на опыте, что не создан для жизни в нем и никогда не достигну здесь того, в чем нуждается мое сердце. И вот, перестав искать среди людей то счастье, которого, как я знал, мне среди них не найти, я дал своему пламенному воображению пронестись над всей моей едва начавшейся жизнью, словно над чуждой мне землей, и опуститься на спокойном месте, где бы я мог утвердиться.

Чувство это, вскормленное с самого детства воспитанием и всю жизнь усиливаемое бесконечной вереницей несчастий и бед, переполняющих ее, всегда заставляло меня стремиться к познанию своего существа и его предназначенья с большим увлечением и вниманием, чем мне приходилось наблюдать это в ком бы то ни было. Я видел много людей, философствовавших более учено, чем я, но философия эта была, так сказать, чужда им. Желая быть ученым других, они изучали вселенную, чтобы знать ее устройство, как изучали бы какую-нибудь машину, просто из любопытства. Они изучили человеческую природу, чтобы быть в состоянии толковать о ней как ученые, а не для того, чтобы познать самих себя; они трудились, чтобы учить других, а не для того, чтобы внутренне просветиться самим. Многим из них хотелось только написать какую-нибудь книгу,— безразлично какую, лишь бы она имела успех. После того как она была написана и вышла в свет, содержание ее больше их нисколько не интересовало,— если только дело шло не о том, чтобы привлечь на ту же точку зрения других и защищать ее, когда она встречала возражения; а в остальном они уже не делали из ее содержания никаких выводов для самих себя и даже вовсе не задумывались о том, правильно оно или ложно,— лишь бы оно оставалось непровергнутым. Я же всегда хотел учиться только для того, чтобы знать самому, а не для того, чтобы учить; я всегда считал, что, прежде чем просвещать других, надо самому приобрести знания; и из всего, что я старался изучить, живя среди людей, нет ничего, чему я не стал бы учиться точно так же один, на пустынном острове, где оказался бы заточенным до конца своих дней. То, что нам приходится делать, во многом зависит от того, во что нам приходится верить; и во всем, что не относится к изначальным природным

потребностям, наши мнения управляют нашими поступками. Исходя из этого принципа, которого я всегда держался, и желая дать своей жизни должное направление, я часто и подолгу старался познать истинную цель ее и скоро утешился в своем неумении добиваться успеха в этом мире, поняв, что цель эту надо искать не в нем.

Рожденный в семье, где царили нравственность и благочестие, затем с кротостью воспитанный священником, полным целомудрия и веры, я воспринял с самого нежного возраста принципы, правила — иные сказали бы: предрассудки,— которые никогда не покидали меня окончательно. Еще ребенком, предоставленный самому себе, соблазняемый ласками, искушаемый тщеславием, увлеченный надеждами, вынужденный необходимостью, я сделался католиком, но по-прежнему оставался христианином; и скоро, покоренное привычкой, сердце мое искренне привязалось к моей новой религии. Наставления и примеры г-жи де Варанс укрепили во мне эту привязанность. Сельское уединение, в котором я провел лучшую часть своей молодости, чтение хороших книг, которому я безраздельно отдавался,— все это усиливало близ к ней мою природную склонность к сердечным порывам и сделало меня набожным почти в духе Фенелона. Уединенные размышления, изучение природы, созерцание вселенной заставляют отшельника беспрестанно устремляться к творцу сущего и в сладкой тревоге искать цели всего видимого и причины всего воспринимаемого. Когда судьба моя снова ввергла меня в мирской поток, я уже не нашел там ничего, что могло бы хоть на миг привлечь мое сердце. Сожаление о моих отрадных досугах всюду преследовало меня и отбрасывало тень безразличия и отвращения на все, что открывало мне доступ к богатству и почестям. Неуверенный в осуществимости своих беспокойных желаний, я мало на что надеялся, получал еще меньше и в блеске успеха чувствовал, что если б даже добился всего, к чему как будто стремился, то не нашел бы в этом счастья, которого жаждало мое сердце, не умея понять, в чем оно заключается. Так все содействовало тому, чтобы привязанности мои отрешились от здешнего мира,— даже прежде, чем пришли несчастья, которые должны были совсем отдалить меня от него. Я дожил до сорока лет,

блуждая между бедностью и богатством, благоразумием и безумством, полный пороков, вызванных привычкой, но не имея дурных склонностей в сердце, живя наудачу, без твердо установленных правил и нерадивый к обязанностям — не потому, чтобы презирал их, а потому, что часто не знал, в чем они заключаются.

С самой юности я определил, что сорокалетний возраст будет пределом моих усилий преуспеть и моих притязаний в каком бы то ни было направлении. Я твердо решил, что, начиная с этого возраста, в каком бы положении он меня ни застал, я из этого положения уже не буду выбиваться и проведу остаток дней моих, живя изо дня в день и не заботясь о будущем. Когда наступило это время, я легко выполнил свой замысел; и хотя тогда судьба моя как будто могла укрепиться на более прочном основании, я отказался от этого не только без печали, но с истинной радостью. Освободившись от всех обольщений, от всех украшений, я снял шпагу, часы, белые чулки, золотое шитье, пышный парик, заменил его совсем простым, надел камзол грубого сукна и сделал еще больше — вырвал с корнем из своего сердца алчность и вожделения, придающие цену всему, что я покидал. Я отказался от места, которое занимал тогда и которое вовсе для меня не подходило, и принялся переписывать ноты за постраничную плату,— к этому занятию у меня всегда было большое влечение.

Я не ограничился перестройкой внешнего. Я понимал, что эта перестройка требует другой — несомненно, более мучительной, но и более необходимой перестройки взглядов, и, решив не возвращаться к ней дважды, я приступил к строгому пересмотру всего своего внутреннего мира, чтобы придать ему на весь остаток жизни тот порядок, в каком я хотел его видеть перед смертью.

Великий переворот, только что по мне произошедший, новый нравственный мир, открывавшийся моему взору, бессмысленные людские суждения, нелепость которых я уже понимал, еще не предугадывая, до какой степени стану их жертвой, все растущая потребность в иных радостях, чем жалкая литературная слава, дым которой, едва я только вдохнул его, уже опротивел мне, и, наконец, желание выбрать на весь остаток своего жизненного пути дорогу более надежную, чем

та, по которой я прошел большую часть его,— все приводило меня к необходимости произвести тот великий пересмотр, потребность в котором я испытывал уже давно. И я приступил к нему, не пренебрегая ничем, что от меня зависело, лишь бы как следует выполнить его.

К этому времени я могу отнести начало полного своего отречения от света и того страстного стремления к одиночеству, которое с тех пор больше меня не покидало. Труд, мной предпринимаемый, мог свершиться не иначе, как в полном уединении; он требовал долгого и спокойного размышления, которого не терпит царящая в обществе суэта. Это заставило меня временно перейти к другому образу жизни, который так мне понравился, что, прерывая его с тех пор лишь под давлением обстоятельств и на редкие мгновенья, я возвращался к нему с радостным сердцем и без труда отдавался ему, когда только мог; впоследствии же люди принудили меня жить в одиночестве, и я обнаружил, что, удаляя меня из своей среды, чтобы сделать несчастным, они сделали для моего счастья больше, чем сумел бы сделать я сам.

Я отдался своей работе с усердием, отвечавшим и важности предмета, и моей потребности в ней. Я жил тогда среди современных философов, несколько не похожих на древних; вместо того чтоб рассеять мои сомнения и устранить колебания, они поколебали все достоверности, на которые я рассчитывал в вопросах наиболее для меня важных; ибо эти пламенные проповедники атеизма и в высшей степени самонадеянные догматики не могут перенести без гнева, чтобы по какому бы то ни было вопросу кто-нибудь думал иначе, чем они. Я защищался — порою слабо, не любя и не умея спорить, по никогда не принимал их безнадежного ученья, — и это противодействие, оказываемое столь нетерпимым людям, у которых к тому же были свои расчеты, было *по* последней причиной их вражды ко мне.

Они не убедили меня, но причинили мне беспокойство. Их доводы поколебали меня, но никогда не могли покорить; я не находил настоящего ответа, но чувствовал, что он существует. Я упрекал себя не столько за ошибку, сколько за глупость, и сердце мое возражало им лучше, чем мой разум.

Наконец я сказал себе: неужели я буду вечно позволять, чтобы меня смущали своими софизмами люди, у которых язык подвешен лучше, чем у меня, хотя я даже не уверен, что мнения, ими проповедуемые и с таким жаром навязываемые другим, действительно принадлежат им? Их страсти, управляющие их взглядами, собственный интерес, заставляющий их добиваться, чтобы вокруг них думали так, а не иначе,— все это мешает установить, что они думают сами. Можно ли найти искреннее убеждение у главарей кружков? У них — философия для окружающих; а мне нужна философия для себя. Так приложим все усилия, чтобы найти ее, пока еще есть время, чтобы заручиться твердым правилом поведения на остаток дней моих.

Вот я уже в зрелом возрасте, в расцвете духовных сил. Но я близок к закату. Если я буду ждать дольше, у меня, при столь запоздалом решении, уже не будет полноты сил; мои умственные способности утратят свою живость; я сделаю не так хорошо то, что сегодня могу сделать наилучшим образом. Улучим же благоприятный момент: это время моей внешней и материальной перестройки,— пусть оно будет для меня и временем перестройки умственной и нравственной. Установим раз навсегда свои мнения, принципы и останемся до конца жизни тем, чем, хорошо поразмыслив, сочтем себя обязанными быть.

Я осуществлял этот замысел медленно и в несколько приемов, но прилагая все усилия и все внимание, на какие только был способен. Я живо чувствовал, что покой всех оставшихся мне дней и вся моя участь зависят от этого. Сначала я оказался в таком лабиринте помех, затруднений, противоречий, изворотов, темнот, что двадцать раз испытал желание все бросить и был готов, прекратив бесплодные поиски, ограничить свои размышленья правилами житейского благоразумия, больше не отыскивая руководства в принципах, в которых оказалось так трудно разобраться. Но житейское благоразумие было мне до такой степени чуждо, я чувствовал себя настолько неспособным его усвоить, что выбрать его в руководители — значило плавать по морям среди бурь, без руля, без компаса, в поисках почти недоступного маяка, к тому же не указывающего мне никакой гавани.

Я упорствовал; в первый раз в жизни у меня нашлось мужество, и ему я обязан тем, что мог

вынести страшные гонения судьбы, которая с тех пор начала торжествовать надо мной, тогда как я даже не подозревал об этом. После самых пламенных, самых искренних исканий, каким, быть может, когда-либо предавался смертный, я принял на всю жизнь решение относительно всех чувств, которые мне нужно иметь. И если я ошибся в отношении результатов, то по крайней мере уверен, что ошибка моя не может быть вменена мне в вину, так как я приложил все усилия, чтобы избежать ее. Правда, я ничуть не сомневаюсь, что детские предубеждения и тайные желания моего сердца заставили чашу весов склониться в самую утешительную для меня сторону. Трудно не верить в то, чего так пламенно желаешь, и кто может сомневаться, что желание принять или отвергнуть приговор потустороннего суда определяет веру большинства в действительность их надежд или опасений. Все это, я признаю, могло ослепить меня, но не поколебать добросовестность моих выводов, так как я во всем боялся ошибиться. Если все дело в опыте этой жизни, мне важно было усвоить его, чтобы, пока еще есть время, сделать из него по крайней мере наилучшее употребление, какое только от меня зависит, и не оказаться совсем одураченным. Но в том умонастроении, которое у меня было, мне больше всего на свете приходилось опасаться, как бы не отдать вечную жизнь души за наслаждение земными благами, никогда не имевшими в моих глазах большой цены.

Признаюсь также, что не всегда удавалось мне устранять к своему удовлетворению все смущавшие меня трудности, которыми наши философы прожужжали мне уши. Но, решив составить себе наконец определенное мнение о предметах, над которыми рассудок человеческий имеет так мало власти, и встречая со всех сторон непроницаемые тайны и неразрешимые противоречия, я избрал в каждом вопросе то понимание его, которое казалось мне наиболее бесспорно установленным и самым вероятным само по себе, не останавливаясь на противоречиях, не поддававшихся устранению, но опровергавшихся другими не менее сильными противоречиями в противоположной системе взглядов. Относительно этих предметов догматический тон к лицу только шарлатанам; но тут важно иметь свое собственное понимание и установить его со всей зрелостью суждения, на какую только мы способны. Если, несмотря на это, мы

впадем в ошибку, то с полной справедливостью не понесем за нее наказания, раз на нас не будет вины. Вот неколебимый принцип, на котором покоится моя уверенность.

Результат моих мучительных исканий был приблизительно таков, каким я обрисовал его в «Исповедании веры савойского викария» — сочинении, незаслуженно обесчещенном и опошленном в теперешнем поколении, но которое способно произвести переворот среди людей, если только в них возродятся когда-нибудь здравый смысл и добросовестность.

С тех пор, спокойно держась принципов, принятых мной после столь продолжительного и глубокого размышления, я сделал их незыблемым правилом своего поведения и веры, не придавая больше значения противоречиям, которых я не мог ни устранить, ни предвидеть и которые время от времени снова возникали в моем уме. Они тревожили меня иногда, но ни разу не поколебали. Я всегда говорил себе: «Все это — только метафизические увертки и тонкости, не имеющие никакого веса по сравнению с основными принципами, воспринятыми моим разумом и утвержденными моим сердцем, принципами, отмоченными печатью внутреннего одобрения при полном молчании страстен. В вопросах, до такой степени превышающих человеческое понимание, может ли противоречие, которого я не в силах опровергнуть, разрушить все здание такой прочной, так хорошо согласованной, так тщательно и обдуманно выработанной доктрины, до такой степени отвечающей требованиям моего разума, моего сердца, всего моего существа и подкрепленной внутренним одобрением, которого я не чувствую по отношению ко всякой другой? Нет, пустые опровержения никогда не разрушат соответствия, которое я замечаю между своей бессмертной природой, устройством этого мира и естественными законами, в нем господствующими. В соответствующем нравственном порядке, система которого есть результат моих исканий, нахожу я опору, нужную мне для того, чтоб переносить свои жизненные беды. При всякой другой системе я буду жить без утешенья и умру без надежды. Я стану несчастнейшим созданием. Будем же придерживаться той системы,

которая одна способна сделать меня счастливым наперекор людям и судьбе».

Разве это рассуждение и сделанный мною из него вывод не кажутся продиктованными самим небом, чтобы подготовить меня к предстоящей мне участи и привести в такое состояние, при котором я мог бы ее выдержать? Что случилось бы со мной в прошлом, что станется со мной в будущем среди ужасных тревог, меня ожидающих, и в том невероятном положении, в котором я вынужден оставаться до конца своей жизни, если бы, оставшись без приюта, где бы я мог укрыться от своих неумолимых преследователей, без возмещения за бесчестье, которому они подвергают меня в этом мире, и без надежды добиться когда-либо должного правосудия, я оказался в полной власти самого ужасного жребия, какой когда-либо выпадал смертному? Спокойный в своей невинности, я воображал, будто люди испытывают ко мне только уважение и доброжелательство; мое открытое, доверчивое сердце изливалось перед друзьями и братьями, а между тем предатели опутывали меня потихоньку сетями, выкованными в глубине ада. Застигнутый врасплох самыми неожиданными и для гордой души самыми страшными несчастьями, смешанный с грязью — до сих пор не знаю, кем и за что,— погруженный в бездну униженья, окутанный страшной тьмой, сквозь которую я не различал ничего, кроме зловещих предметов, я был сражен неожиданным ударом и никогда не освободился бы от уныния, в которое повергло меня это непредвиденное несчастье, если б заранее не берег силы, чтобы подниматься после своих падений.

Только после ряда тревожных лет, собравшись с мыслями и начав приходить в себя, узнал я цену богатств, сбереженных мною на черный день. Выяснив свой взгляд на все, о чем мне важно было иметь суждение, и сравнивая свои правила и свое положение, я увидел; что придаю бессмысленным мнениям людей и мелким событиям этой короткой жизни человеческой гораздо больше важности, чем они того заслуживают. Я понял, что, поскольку наша жизнь — только цепь испытаний, не важно, какого рода будут эти испытания, лишь бы достигнуть того результата, к которому они направлены, и что, следовательно, чем эти испытания больше, сильнее, многообразней, тем выгодней проявить в них стойкость. Самые жестокие горести теряют силу для

всякого, кто видит перед собой великую и верную награду; уверенность в ней была главным плодом, который я извлек из предшествующих своих размышлений.

Правда, среди бесчисленных обид и безмерных унижений, сыпавшихся на меня со всех сторон, тревога и сомнения время от времени колебали во мне надежду и возмущали мой покой. Неразрешимые противоречия вставали тогда в моем уме с большей силой и окончательно подавляли меня как раз в те минуты, когда, сгибаясь под тяжестью рока, я готов был погрузиться в отчаянье. Нередко услышанные мной новые доводы присоединялись к тем, что уже терзали меня, и подкрепляли их. «Ах! — говорил я тогда себе, в то время как грудь моя стеснялась до удушья,— кто оградит меня в ужасной моей участи от отчаянья, если я перестану видеть что-либо, кроме химер, в тех утешениях, которые доставляет нам: разум? Если, уничтожая таким образом свое собственное дело, он разрушит всякую надежду и доверие, которые сам создал мне в качестве опоры на черный день, какая опора останется мне, кроме иллюзий, баюкающих одного меня во всем мире? Все теперешнее поколение не видит в тех чувствах, которыми я живу, ничего, кроме ошибок и предрассудков, оно находит истинной, очевидной систему взглядов, противную моей; оно как будто даже не может поверить, что я держусь своей системы искренне; и сам я, предавшись ей всем своим существом, нахожу в ней непреодолимые трудности, которых я не в состоянии разрешить, но которые не мешают мне упорно держаться ее. Неужели только я один мудр, только я просвещен среди смертных?» Чтобы думать, что это так, достаточно ли, чтоб ото мне подходило? Могу ли я иметь разумное доверие к видимостям, которые не заключают в себе ничего прочного с точки зрения остальных людей и мне самому казались бы призрачными, если бы сердце мое не оказывало поддержку разуму? Не лучше ли мне было бы сражаться со своими преследователями равным оружием, усвоив их правила, чем оставаться со своими химерами беззащитным от их нападения и ничего не делать для того, чтоб дать гонителям отпор? Я считаю себя мудрецом, а на деле я только игрушка, жертва и мученик бесплодной ошибки».

Сколько раз в такие минуты сомнения и неуверенности я был готов предаться отчаянью. Если бы мне довелось хоть раз провести в таком состоянии целый месяц, с жизнью моей и со мной было бы покончено. Но эти припадки, прежде довольно частые, были всегда непродолжительны, а теперь, когда я еще не вполне освободился от них, они так редки и коротки, что не в силах даже возмутить мой покой. Это легкие тревоги: они потрясают мою душу не более, чем упавшее в реку перо может изменить ее течение. Я чувствовал, что снова подвергать обсуждению те вопросы, по которым я уже принял решение, значит предполагать в себе больше сведений, или большую зрелость суждения, или же большую жажду истины, чем я имел во время своих исканий; но ничего этого в данном случае не было и не могло быть; никакая веская причина не заставляла меня предпочесть мнения, соблазнявшие меня в моем отчаянье только для того, чтобы увеличить мое горе, и я оставался верен чувствам, усвоенным в расцвете сил, в момент умственной зрелости, после самого продуманного обсуждения и в те времена, когда в моей спокойной жизни не было места для других господствующих интересов, кроме стремленья познать истину. Теперь, когда мое стесненное тоской сердце, моя обессиленная огорченьями душа, мое запуганное воображенье, моя взволнованная столькими окружающими меня страшными тайнами голова, когда все мои ослабленные страстью и горем способности утратили всю энергию,— стану ли я с готовностью лишать себя всех богатств, которые сберег, и, делая себя несчастным без вины, оказывать больше доверия своему слабеющему разуму, чем прежде, когда он был во всей своей силе? И разве этим я могу вознаградить себя за свои незаслуженные страданья? Нет, я не стал ни более мудрым, ни более осведомленным, ни более взыскательным, чем в то время, когда решал эти великие вопросы; я не упустил тогда из вида трудностей, которым позволяю смущать себя теперь; они не остановили меня; а если возникают какие-то новые, которые не были учтены, то это софизмы утонченной метафизики, неспособные поколебать вечные истины, принятые во все времена, всеми мудрецами, признанные всеми нациями и начертанные в сердце человеческом несмываемыми письменами. Я знал, размышляя об этих предметах,

что ограниченное чувствами человеческое понимание не может охватить их во всем их объеме. И я держался того, что было мне доступно, не заходя дальше. Это был разумный путь; я пошел по нему когда-то и держался его с одобрения моего сердца и разума. На каком же основании откажусь я от него теперь, когда столько властных поводов должны привязывать меня к нему? Какую опасность вижу я в том, чтобы следовать ему? Какую пользу в том, чтобы покинуть его? Разделив образ мыслей своих преследователей, разделю ли я также их нравственные правила? Те беспочвенные и бесплодные нравственные правила, которые они выставляют напоказ в книгах или в каких-нибудь эффектных театральных пьесах, не давая им проникнуть ни в сердце, ни в разум; или же другие нравственные правила — тайные и жестокие, составленные для внутреннего обихода посвященных: показные правила являются прикрытием, а вторыми, которые служат основой их поведения, так ловко воспользовались по отношению ко мне. Эти нравственные правила, чисто наступательные, не могут служить для защиты и пригодны только для нападения. Какую пользу принесли бы они мне в том состоянии, до которого я доведен? Одна лишь невинность поддерживает меня в несчастьях, и насколько я стал бы несчастней, если бы отнял у самого себя эту единственную, по могучую поддержку и заменил ее злобой? Сравнялся ли бы я с ними в искусстве вредить, а если бы даже сравнялся, от какой беды избавил бы меня тот вред, который я мог бы причинить им? Я только потерял бы уважение к себе и ничего не выиграл бы взамен.

Вот как рассуждал я сам с собой и кончил тем, что не дал поколебать своих принципов коварными доводами, неразрешимыми противоречиями и трудностями, превышающими мои возможности, а может быть, и возможности человеческого ума. Мой ум, оставаясь на самых прочных позициях, какие я только мог ему дать, так привык покоиться на них под защитой моей совести, что никакое другое — старое или новое — чуждое ученье уже не может ни взволновать его, ни возмутить хоть на мгновение мой покой. Впав в духовную вялость и сонливость, я забыл даже рассуждения, на которых основывал свое верование и свои правила; но я никогда не забуду выводов, которые из них сделал с одобрения своей совести и разума, и отныне держусь их. Пусть все

философы явятся оспаривать эти выводы,— они только понапрасну потеряют время и труд. До конца дней моих я буду держаться во всем того, что решил еще тогда, когда был в состоянии лучше выбирать.

Оставаясь спокойным при таком расположении духа, я нахожу в нем вместе с довольством собой надежду и утешение, в которых так нуждаюсь. Разумеется, такое полное, постоянное, уже само по себе печальное одиночество, такая всегда о себе напоминающая, недремлющая вражда всего теперешнего поколения, такие беспрестанно мне причиняемые униженья ввергают меня иногда в уныние; колебания, надежды, расслабляющие сомненья еще возвращаются время от времени, чтобы смутить мою душу и наполнить ее печалью. И тогда-то, неспособный к умственным усилиям, необходимым для того, чтобы снова почувствовать уверенность в себе, я бываю вынужден вспомнить свои прежние решения; заботы, внимание, сердечная искренность, которые я вложил в их выбор, снова встают тогда в моей памяти и восстанавливают все мое доверие к себе. Таким образом отрешаюсь я от всех новых идей, как от пагубных заблуждений, обладающих фальшивым обликом и годных только на то, чтобы смутить мой покой.

Так, держась в узком кругу своих прежних незнаний, я не имею счастливой возможности, подобно Солону, старея, ежедневно учиться, и мне приходится даже ограждать себя от опасной гордыни, выражающейся в стремлении узнать то, что отныне я уже не в состоянии узнать как следует. Но если я не могу надеяться на особые приобретения в отношении полезных знаний, очень важные приобретения предстоит мне сделать в области необходимых в моем положении добродетелей. Вот каким приобретением мне было бы своевременно обогатить и украсить свою душу; она могла бы взять его с собой, когда освободится от помрачающего, ослепляющего ее тела и увидит истину без покрывала, поймет ничтожество всех этих знаний, которыми так кичатся наши лжеученые. Она будет скорбеть о мгновениях этой жизни, потраченных на погоню за ними. А терпенье, кротость, смирение, честность, беспристрастная справедливость — это блага, которые уносят с собой и которыми можно обогащаться беспрестанно, не опасаясь, чтобы сама смерть могла уничтожить их ценность для нас.

Этому-то единственному и полезному изучению посвящаю я в старости остаток своих дней. И буду счастлив, если благодаря собственному совершенствованию уйду из этой жизни не лучшим, ибо это невозможно, но более добродетельным, чем вступил в нее!

ПРОГУЛКА ЧЕТВЕРТАЯ

Среди немногих книг, которые я иногда еще читаю, больше всего увлекает меня и приносит мне пользы Плутарх. Он был моим первым детским чтением и будет последним в старости: это чуть ли не единственный автор, из чтения которого я всегда извлекал что-нибудь ценное. Третьего дня я прочел среди его сочинений о нравственности трактат «О том, как можно извлечь пользу из врагов?». В тот же день, разбирая кой-какие брошюры, присланные мне разными авторами, я натолкнулся на одну из книг журнала аббата Р. *, на титульном листе которой он поставил следующие слова: « *Vitam vero impendenti , R ...*»¹ [Посвятившему жизнь истине, Р... (*лат.*).] Слишком хорошо осведомленный об уловках этих господ, чтобы ошибиться относительно этой надписи, я понял, что он рассчитывал под таким вежливым прикрытием высказать мне некую жестокую истину. Но на чем основанную? И к чему этот сарказм? Какой повод мог я подать к нему? Чтобы воспользоваться уроками доброго Плутарха, я решил посвятить на другой день прогулку самопроверке в отношении лжи, ибо я глубоко уверен в истинности ранее составленного мнения, что «Познай самого себя» Дельфийского храма * — правило, которому не так легко следовать, как я полагал в своей «Исповеди».

Когда я на другой день пустился в путь, чтобы выполнить это решение, первое, о чем я вспомнил, как только начал углубляться в себя, был ужасный обман, совершенный мной в ранней юности *, воспоминанье о котором мучило меня всю жизнь, а в старости стало еще сильнее терзать мне сердце, уже сокрушенное на столько других ладов. Обман этот, который уже сам по себе был большим преступленьем, стал еще большим по своим последствиям; я ничего не знал о них, по угрызенья совести рисовали мне их такими жестокими, как

только возможно. Между тем достаточно обратиться к тому состоянию, в котором я находился, совершая этот обман, чтобы стало ясно, что он был лишь плодом ложного стыда. Не только не был он порожден желанием повредить той, которая оказалась его жертвой, но, напротив, могу поклясться небом, что в тот самый миг, когда этот неодолимый стыд вырвал его у меня, я с радостью отдал бы всю свою кровь, чтобы его последствия обратились на меня одного. Я был в бреду и не могу объяснить этого иначе, как сказав то, что, мне кажется, я чувствовал тогда: моя природная робость подчинила себе все стремления моего сердца.

Воспоминание об этом злосчастном поступке и вызванные им во мне неутешные сожаления внушили мне такое отвращение ко лжи, что оно должно было на всю остальную жизнь оградить мое сердце от этого порока. Когда я выбрал себе свой девиз, я чувствовал, что способен заслужить его, и я не сомневался, что окажусь его достойным, когда под влиянием слов аббата Р. приступил к более серьезному изучению своей души.

Тут, тщательней в себе покопавшись, я был крайне Удивлен количеством вещей выдуманных, о которых я, помню, говорил как об истинных в то самое время, когда внутренне гордился своей любовью к истине и жертвовал ей своей безопасностью, своими интересами и своей личностью с беспристрастием, которому не знаю другого примера среди людей.

Больше всего удивило меня то, что, вспоминая об этих выдуманных вещах, я не чувствовал из-за них никакого раскаянья. Я, в чьем сердце отвращение к обману не имеет никакого противовеса, я, который не устрасился бы пытки, если б ее нельзя было избежать иначе как путем лжи,— по какой нелепой непоследовательности лгал я с легким сердцем, без необходимости, без выгоды и по какому непостижимому противоречию не испытывал из-за этого ни малейшего сожаленья,— я, которого угрызенье совести из-за одного обмана не переставало мучить в течение пятидесяти лет? Я никогда не упорствовал в своих ошибках; нравственный инстинкт всегда правильно руководил мной; совесть моя сохранила с детства присущую ей неподкупность; и хотя бы она даже изменилась, уступая моим интересам,— каким

образом, сохраняя всю свою прямоту в таких обстоятельствах, когда человек, одолеваемый страстями, может по крайней мере найти извинение в своей слабости, теряет она эту прямоту единственно из-за предметов безразличных, относительно которых порок не может найти извинения? Я увидел, что от решения этого вопроса зависит правильность суждения, которое я должен вынести о самом себе; и после того как я тщательно его исследовал, вот как мне удалось его объяснить.

Помню, мне случилось прочесть в одной философской книге, что лгать — значит утаивать истину, которую надо обнаружить перед всеми. Из этого определения следует, что молчать об истине, о которой нет необходимости говорить, не значит — лгать. Но тот, кто, не довольствуясь в подобном случае умолчанием, говорит противоположное истине, — лжет он тем самым или нет? По этому определению нельзя утверждать, что лжет. Ведь если он дает фальшивую монету человеку, которому не должен ничего, он, несомненно, обманывает этого человека, но не обворовывает его.

Тут надо рассмотреть два вопроса, оба очень важные. Первый когда и как обязаны мы говорить ближнему правду, раз не обязаны делать это всегда? Второй: бывают ли случаи, когда можно обмануть неумышленно? Этот второй вопрос отчетливо разрешен, я хорошо это знаю: отрицательно разрешен в книгах, где самая суровая нравственность ничего не стоит автору, и положительно — в обществе, где книжная нравственность считается неосуществимой на практике болтовней. Оставим же эти авторитеты, которые друг другу противоречат, и постараемся на основе своих собственных принципов разрешить эти вопросы для себя.

Общая и отвлеченная истина — самое драгоценное из всех благ. Без нее человек — слеп; она — око разума. Это она научает человека правильно нести себя, быть тем, кем он должен быть, делать то, что он должен делать, идти к настоящей своей цели. Истина частная и индивидуальная — не всегда благо; иногда она — зло, очень часто — нечто безразличное. Вещей, которые человеку важно знать и знание которых необходимо для его счастья, может быть, не так много; но, сколько бы их ни было, они являются его собственным достоянием; он вправе требовать его всюду, где оно ему попадется, и его

нельзя лишиться этого достояния, не совершая самого очевидного воровства,— поскольку оно — из тех общих всем благ, передача которых ничего не отнимает у того, кто их дает.

Что же касается истин, не имеющих никакой полезности ни для познания, ни для практики,— каким образом могут они быть благом обязательным, раз они вовсе даже не являются благом и раз собственность основана на полезности, и, значит, где отсутствует возможная полезность, там не может быть и собственности. Можно требовать участка хотя бы даже и бесплодной земли, потому что на нем можно хоть жить; но является ли факт ничтожный, во всех отношениях безразличный и ни для кого не имеющий никакого значения, — является ли он действительным или выдуманным, это никого не интересует. Однако в мире нравственном нет ничего бесполезного, так же как и в мире физическом. Не может быть ничего должного среди того, что ни на что не годно; чтобы какой-либо предмет был должным, надо чтоб он был или мог стать полезным. Таким образом, обязательная истина — только та, в которой заинтересована справедливость, и называть истиной вещи пустые, существование которых всем безразлично и знание которых ни на что не нужно, значит профанировать священное понятие истины. Следовательно, истина, лишенная какой бы то ни было, хотя бы только возможной полезности, но может быть должной, и, значит, тот, кто умалчивает о ней или скрывает ее, не лжет.

Но существуют ли истины до такой степени бесплодные, чтобы они были во всех отношениях всем бесполезны,— вот еще один вопрос, подлежащий обсуждению, и я к нему вернусь. А пока перейдем ко второму вопросу.

Не говорить правду и говорить ложь — две вещи, совершенно различные. Но они могут произвести одинаковое действие, ибо результат их, конечно, совершенно одинаков всякий раз, когда действие это равно нулю. Всюду, где истина безразлична, так же безразлично и противоположное ей заблуждение; откуда следует, что в подобном случае тот, кто обманывает, говоря нечто обратное истине, поступает не более несправедливо, чем тот, кто обманывает, не объявляя о ней,— так как в отношении истин бесполезных заблуждение не

заключает в себе ничего худшего, чем неведение. Буду ли я считать, что песок на дне морском белый или красный, это так же не важно, как вовсе не знать, какого он цвета. Как можно совершить несправедливый поступок, никому не повредив, если несправедливость состоит только в ущербе, нанесенном ближнему?

Но такое суммарное разрешение этих вопросов не могло еще дать мне никакого надежного подхода к практике — без множества предварительных разъяснений, необходимых для правильного его применения во всех случаях, какие могут представиться. Ведь если обязанность говорить правду основана только на ее полезности, как могу я стать судьей этой полезности? Очень часто выгода одного составляет невыгоду другого, а частный интерес почти всегда находится в противоречии с интересом общественным. Как вести себя в подобном случае? Следует ли жертвовать пользой отсутствующего ради пользы того, с кем говоришь? Следует ли утаивать или говорить истину, которая, принося пользу одному, вредит другому? Следует ли взвешивать все, что предстоит сказать, на одних только весах общественного блага, или же на весах уравнительного беспристрастия, и могу ли я быть вполне уверен, что достаточно знаю все отношения данного предмета, что сообщаю имеющиеся у меня сведения исключительно в интересах справедливости? Кроме того, рассматривая вопрос об обязанностях перед другими, рассмотрел ли я в достаточной мере и вопрос о наших обязанностях перед самими собой, о наших обязанностях перед истиной самой по себе? Если я не причиняю никакого ущерба другим, обманывая их, следует ли отсюда, что я не причиняю ущерба и самому себе, и достаточно ли никогда не совершать несправедливости, чтобы быть всегда невинным?

Сколько запутанных споров, из которых было бы нетрудно найти выход, сказав себе: «Будем всегда правдивы, к чему бы это ни привело. Сама справедливость заключается в соответствии с действительностью; обман — всегда несправедлив, заблуждение — всегда подделка, когда то, чего нет, выдается за правило того, как надлежит поступать или делать. И какое бы последствие ни получилось из истины, ты никогда не окажешься виноватым, сказав ее, потому что не вложил в нее ничего своего».

Но это значит разрубить вопрос, не разрешив его. Речь идет не о том, хорошо ли всегда говорить истину, но о том, обязаны ли мы всегда в одинаковой мере делать это, и — допустив на основе того определения, которое я рассмотрел, что не всегда,— провести различие между случаями, когда истина строго обязательна, и теми, когда можно, не совершив несправедливости, умолчать о ней и, не солгав, прикрыть ее: ибо я установил, что такие случаи действительно существуют. Следовательно, речь идет о том, чтобы отыскать твердое правило, по которому следует распознавать и точно определять эти случаи.

Но откуда извлечь это правило и доказательство его непогрешимости?.. Относительно всех трудных нравственных вопросов, подобных этому, я всегда убеждался, что их лучше решать по указаниям совести, а не на основе требований просвещенного разума. Никогда нравственный инстинкт не обманывал меня: до сих пор он хранил в моем сердце достаточную чистоту, чтобы я мог на него положиться; и если он иногда и умолкает и страсти влияют на мое поведение, то во всяком случае он восстанавливает свою власть над ними в моих воспоминаниях. Вот где я сужу самого себя, может быть, с такой же строгостью, с какой буду судим верховным судьей в другой жизни.

Судить о людских речах но вызванным ими последствиям часто значит — плохо их оценивать. Помимо того, что последствия эти не всегда уловимы и не легко распознаваемы, они бесконечно разнообразны, как и обстоятельства, в которых произносятся эти речи. Намеренье говорящего — вот что единственно устанавливает их цену и определяет степень их зла или добра. Солгать — это значит сказать неправду с намереньем обмануть; и даже намеренье обмануть далеко не всегда соединено с намереньем причинить вред, а имеет иногда совсем обратную цель. Но для того чтобы обман был невинным, недостаточно того, чтобы не было определенного намеренья повредить: необходима, кроме того, уверенность, что заблуждение, в которое ввергают тех, кому говорят, не может каким бы то ни было способом повредить ни им и никому другому. Редко и с трудом можно иметь эту уверенность; поэтому с трудом и редко можно допустить, чтобы обман был совершенно невинен. Лгать самому себе

для своей выгоды — обман; лгать для выгоды другого — подлог; лгать для того, чтоб повредить,— клевета; это худший вид лжи. Лгать без выгоды и ущерба для себя и другого — не значит лгать: это не обман, это вымысел.

Вымыслы, имеющие нравственную цель, называются апологами, или баснями; и так как цель их заключается или должна заключаться только в том, чтобы облечь полезные истины в наглядную и приятную форму, в таких случаях не стремятся скрыть фактический обман, который есть но что иное, как одежда истины,— и тот, кто сочиняет басню только ради басни, ни в какой мере не лжет.

Есть другие вымыслы, совершенно пустые,— такова большая часть сказок и романов, которые, не заключая в себе никакого подлинного поучения, имеют целью только забаву. Эти вымыслы, лишенные какой бы то ни было нравственной пользы, могут быть оценены только в зависимости от намеренья того, кто их выдумывает, и если он, рассказывая их, утверждает, будто это подлинная правда, то невозможно не признать, что это настоящий обман. Однако кто же когда-нибудь особенно стыдился такого обмана и кто серьезно ставил его в вину тем, которые к нему прибегают? Если есть, например, какая-нибудь нравственная цель в «Книдском храме»*, цель эта очень плохо видна и нарушена, искажена чувственными подробностями и сладострастными картинами. Что сделал автор, чтобы прикрыть это дымкой стыдливости? Он представил дело так, будто его произведение — перевод одной греческой рукописи, и сочинил историю открытия этой рукописи с таким расчетом, чтобы лучше всего убедить своих читателей в истинности своего рассказа. Если это не бесспорный обман, пусть тогда мне скажут, что значит — лгать? Между тем, кто решится поставить этот обман автору в вину и назвать его за это лжецом?

Напрасно будут на это возражать, что это только шутка, что автор не стремился никого убедить своими утверждениями, что он действительно никого не убедил и что публика ни минуты не сомневалась в том, что он сам автор этого якобы греческого произведения, переводчиком которого оп себя называет. Я отвечу, что подобная, совершенно бесцельная шутка была бы только очень глупым

ребячеством; что обманщик, утверждая, уже лжет, хотя бы он и не был в состоянии убедить; что нужно отличать от образованной публики множество простых и доверчивых читателей, действительно введенных в заблуждение историей рукописи, рассказанной автором серьезно, с мнимой добросовестностью, и безбоязненно пивших из античной по виду чаши яд, который вызвал бы в них по крайней мере опасенье, если б был им поднесен в современном сосуде.

Имеются или нет эти различия в книгах — они во всяком случае имеются в сердце каждого честного перед самим собой человека, который не хочет позволить себе ничего такого, в чем совесть может его упрекнуть. Потому что сказать что-нибудь ложное для собственной выгоды — значит совершить не меньший обман, чем если б это было сказано к невыгоде другого, хотя обман здесь и менее преступим. Дать преимущество тому, кто не должен иметь его, — значит нарушить правопорядок; ложно приписать себе или другому действие, из которого может воспоследовать похвала или порицание, обвинение или оправдание, — значит сделать вещь несправедливую; стало быть, все, что, будучи противным истине, каким бы то ни было образом оскорбляет справедливость, — есть обман. Вот точная граница. Но все, что, будучи пропитым истине, ни и какой мере не затрагивает справедливости, есть лишь выдумка; и я признаюсь, что всякий, кто упрекнет себя за чистую выдумку, как за обман, обладает совестью, более взыскательней, чем моя. То, что называют угодливым обманом, есть подлинный обман, потому что вводить в заблуждение в интересах другого или своих собственных — не менее несправедливо, чем вводить в заблуждение в ущерб ближнему. Кто хвалит или порицает вопреки истине — лжет, если речь идет о лице реальном. Если же речь идет о лице воображаемом, он может говорить о нем что угодно, не совершая обмана, если только не высказывает суждений о нравственной стороне событий, которые выдумывает, и если суждения его об этом не являются ложными; ибо в этом случае, если он не лжет в отношении фактов, то лжет против истины нравственной, во сто раз более заслуживающей уважения, чем истина фактическая.

Видал я людей, в свете слывших правдивыми. Всея правдивости их хватает на то, чтобы в пустом разговоре не указывать времени, места, лиц, не позволять себе никакой выдумки, не преувеличивать. Во всем, что не затрагивает их интересов, они соблюдают в своем рассказе нерушимую правду. Но как только зайдет речь о каком-нибудь деле, их касающемся, как только нужно рассказать о чем-нибудь таком, что задевает их за живое,— так пускаются в ход все краски, чтобы представить вещи в самом выгодном для них свете; и если обман им полезен, а сами они воздерживаются от него, они ловко его поощряют и устраивают так, чтобы в него поверили, но не имели возможности приписать им. Этого требует осторожность: правдивость, прощай!

Человек, которого я называю правдивым, поступает как раз наоборот. В вопросах совершенно безразличных истина, к которой в этих случаях светский человек так внимателен, занимает его очень мало, и он вовсе не постесняется позабавить общество выдуманной историей, из которой не получится никаких несправедливых суждений ни за, ни против кого бы то ни было из живых или мертвых. Но всякая речь, клонящаяся к чьей-нибудь выгоде или вреду, к хорошей или дурной славе, к похвале или порицанию вопреки истине и справедливости, есть обман, который никогда не приблизится ни к его сердцу, ни к устам, ни к перу. Он непоколебимо правдив, даже вопреки своим интересам, хоть и не старается во что бы то ни стало быть правдивым в пустом разговоре. Он правдив в том, что не хочет никого обманывать, что одинаково держится как той истины, которая говорит против него, так и той, которая делает ему честь, и что никого не вводит в заблуждение ни ради своей выгоды, ни для того, чтобы повредить врагу. Таким образом, различие между моим правдивым человеком и светским правдолюбцем состоит в том, что последний очень строго держится истины всякий раз, как это ему ничего не стоит, но не более, а згой служит ей тем более преданно, чем больше это требует жертв.

Но, возразят мне, как согласовать подобное послабление с той пламенной любовью к истине, за которую я его прославляю? Видно, любовь эта притворная, если она мирится с такой примесью?

Нет, она чиста и правдива; но она только вытекает из любви к справедливости и не хочет быть лживой, хотя часто бывает склонна к фантазированию. Истина и справедливость в его сознании — два синонима, и он пользуется одним вместо другого без различия. Святая истина, которую боготворит его сердце, заключается не в безразличных фактах и пустых наименованиях, а в том, чтобы правдиво отдать каждому должное, все, что действительно принадлежит человеку из того, что ему приписывается хорошего или дурного, из воздаваемых почестей или порицаний, похвал или хулы. Он не лжет во вред другому, потому что этому мешает его чувство справедливости и он не хочет никому вредить незаслуженно; не лжет он и к своей выгоде, потому что этому мешает его совесть и он не в состоянии присвоить себе то, что ему не принадлежит. Больше всего он беспокоится об уважении к самому себе: это благо, без которого ему трудней всего обойтись, и приобретение уважения от других за счет этого блага он воспринял бы как настоящую потерю. И вот он иной раз солжет, говоря о вещах безразличных, не стыдясь и не думая, что солгал,— но никогда не солжет ни во вред, ни к выгоде другого или самого себя. Во всем, что относится к истинам историческим, во всем, что связано с поведением людей, со справедливостью, с общественными отношениями, с полезными знаниями, он, насколько это от него зависит, предохранит от ошибки и самого себя, и других. Всякий обман за пределами этого не представляется ему таковым. Если «Книдский храм» — произведение полезное, то история греческой рукописи — только невиннейший вымысел; и она — непростительный обман, если произведение вредно.

Таких правил, по совести, держался я в вопросе об истине и обмане. Сердце мое бессознательно следовало этим правилам еще прежде, чем их воспринял мой разум, когда один только нравственный инстинкт заставлял меня применять их. Преступный обман, жертвой которого стала бедная Марион, оставил во мне неизгладимые угрызения, и во всю остальную жизнь они удерживали меня не только от обмана такого рода, но и от всякого, который каким бы то ни было образом мог затронуть интересы и доброе ими другого человека. Обобщая, таким образом, исключение, я избавлен от необходимости точно

взвешивать преимущества и невыгоды обмана вредоносного и обмана угодливого и устанавливать точные границы между ними; считая оба эти вида обмана недопустимыми, и наложил на себя запрет относительно того и другого.

В этом, как и во всем остальном, мой темперамент сильно повлиял на мои правила, или вернее — на мои привычки, потому что я почти не действовал по правилам или не слишком следовал в чем бы то ни было иным правилам, кроме побуждений своей природы. Никогда преднамеренная ложь не приближалась к моей мысли, никогда не лгал и ради собственной выгоды; но нередко лгал из стыда, чтобы выйти из затруднения в вещах безразличных либо важных самое большее для меня одного,— когда, поставленный и необходимостью поддержать беседу, я из-за медлительности своей мысли и скудости источников для разговора бывал вынужден прибегать к вымыслам, чтобы было что сказать. Если непременно надо говорить, а занимательные факты не приходят мне достаточно быстро в голову, я сплетаю басни, чтобы не оставаться немым; но, выдумывая эти басни, я, насколько могу, слежу за тем, чтобы в них не было обмана, то есть чтобы они не оскорбляли ни должной истины, ни справедливости и не были бы ничем, кроме как вымыслом, безразличным для всех и для меня. Желанием моим, конечно, было бы по крайней мере восполнить отсутствие правды фактической правдой нравственной, то есть правильно представить в них естественные склонности человеческого сердца и обязательно преподать какое-нибудь полезное наставление,— словом, сделать их нравоучительными притчами, апологами; но надо иметь больше находчивости и дара речи, чем у меня, чтобы воспользоваться светской болтовней для поученья. Ход ее, более быстрый, чем ход моих мыслей, заставлял меня почти всегда говорить необдуманно и нередко наводил меня на глупости и нелепости, осуждаемую моим разумом; сердце мое отвергало их по мере того, как они вылетали из моих уст; но, опережая действительное мое суждение, они не могли уже быть изменены под влиянием его цензуры.

Опять-таки по тому же первому и непреодолимому побуждению моего темперамента

— от стыда и застенчивости — не ожи-. данные и быстрые вопросы часто вызывают у меня ложь, в которой не участвует моя поля; в известном смысле ложь предваряет ее из-за необходимости тотчас же дать ответ. Глубокое впечатление при воспоминании о бедной Марион всегда удерживает меня от той лжи, которая может повредить другим, но не от той, которая может помочь мне выпутаться из затруднения, когда это касается меня одного,— хоть и это все же противоречит моей совести и моим принципам.

Призываю небо в свидетели, что, если б я мог через мгновение всякий раз брать обратно свои слова и вместо оправдывающей меня лжи говорить обличающую меня правду, не навлекая на себя нового униженья этим противоречием, я всегда делал бы это от всего сердца; но стыд, связанный с подобным самообличеньем, еще удерживает меня, и я очень искренне раскаиваюсь в своей проступке, не смея, однако, исправить его.

Один пример лучше пояснит то, что я хочу сказать, и покажет, что я лгу не ради выгоды, не из самолюбия и еще меньше по склонности или злему умыслу, но единственно из смущения и ложного стыда, иногда даже очень хорошо зная, что обман мой известен и не может принести мне никакой пользы.

Несколько времени тому назад г-н Ф*** уговорил меня, против моего обыкновения, поехать с женой в обществе его самого и г-на Б*** за город; наш пикник закончился обедом у г-жи***, рестораторши, которая вместе с двумя своими дочерьми тоже села обедать с нами. Посреди обеда ее старшая дочь, недавно вышедшая замуж и беременная, вздумала вдруг, глядя на меня в упор, резко спросить, были ли у меня дети. Густо покраснев, я ответил, что не знал этого счастья. Она с хитрой улыбкой оглядела присутствующих: все это было слишком прозрачно даже для меня.

Прежде всего ясно, что этот ответ — но тот, который я хотел бы дать, даже если б имел намеренье сказать неправду, потому что, видя, в каком настроении обедающие, я мог быть вполне уверен, что ответ мой не внесет никакого изменения в их мнение об этом предмете. Отрицательный ответ ожидался, его даже хотели вызвать,— чтобы доставить себе удовольствие, заставив меня солгать.

Я был не настолько туп, чтобы не заметить этого. Минуты через две ответ, который я должен был бы дать, пришел мне на ум сам собой: «Вот неловкий вопрос со стороны молодой женщины человеку, который состарился холостяком».

Сказав это, я, не прибегая ко лжи и не будучи вынужден краснеть из-за каких-либо признаний, перетянул бы насмешников па свою сторону и дал бы ей небольшой урок, который, естественно, должен был отбить у нее охоту задавать мне дерзкие вопросы. Но я сделал совсем другое: я не сказал того, что надо было сказать, и сказал то, чего говорить не следовало п что не могло принести мне никакой пользы. Таким образом, очевидно, что мой ответ не был мне продиктован ни здравым смыслом, ни волей и что он был бессознательным следствием моего смущенья. В прежнее время этого смущенья у меня не было, и, признаваясь в своих проступках, я испытывал больше желания быть искренним, чем стыда,— не сомневаясь, что не останется незамеченным то, что их искупает и что я ощущаю внутри себя; но недоброжелательный взгляд раздирает мне сердце и приводит меня и замешательство; став более несчастным, я стал более робок; а я никогда не лгал, кроме как из робости.

Никогда ие испытывал я с большей силой свойственного мне отвращения к обману, как в то время, когда писал свою «Исповедь»: вот когда соблазн обмануть читателя являлся бы часто и настойчиво, если б только естественная склонность тянула меня в эту сторону. Но я ни о чем не умолчал, ничего не скрыл из того, что было мне во вред, делая это благодаря умственному складу, который я затрудняюсь объяснить себе самому и который, возможно, есть следствие отчуждения от всякой подражательности; напротив, я скорее чувствовал склонность к противоположной лжи, предпочитая обличать себя с чрезмерной строгостью, чем извинять с чрезмерной снисходительностью, и совесть моя служит мне порукой, что настанет день, когда меня будут судить менее строго, чем я судил сам себя. Да, я говорю и чувствую это с гордостью в душе: в этом произведении я довел добросовестность, правдивость, откровенность до того предела,— и, может быть, даже перешел за этот предел,— до которого никогда не доводил их никто другой; по крайней мере мне так кажется; чувствуя,

что добро во мне перевешивает зло, я имел выгоду говорить все,— и я сказал все.

Я никогда не говорил меньше того, что было. Иногда я говорил больше — не в отношении фактов, а в отношении обстоятельств, и этот вид обмана был скорее следствием бреда воображенья, чем проявлением воли. Я даже не прав, называя это обманом, потому что ни одно из этих добавлений им не было. Я писал свою «Исповедь» уже стариком, прикоснувшись ко всем жизненным наслаждениям, пресытившись ими и глубоко почувствовав их пустоту. Я писал ее по памяти; память часто изменяла мне или возрождала лишь неотчетливые воспоминания, и я заполнял пробелы подробностями, выдуманными в дополнение к этим воспоминаниям, но которые никогда им не противоречили. Мне нравилось распространяться о счастливых минутах моей жизни, и я украшал их иногда прекрасными чертами, которые подсказывало мне нежное сожаленье.

Я передавал предметы позабытые в том виде, в каком, мне казалось, они должны были быть, в каком, может быть, они действительно были, и никогда в обратном тому, в каком я их помнил. Мне, может быть, случалось придавать истине чуждое ей очарование, но никогда не ставил я на ее место ложь, чтобы прикрыть свои пороки или присвоить себе какие-нибудь добродетели.

Если иногда я, не замечая этого, невольным движением утаивал невыгодную сторону, рисуя себя в профиль, то эта недоговоренность вполне уравновешивалась другими, еще более странными недомолвками, когда я нередко умалчивал о хорошем более тщательно, чем о дурном. Это — странность моего характера, и людям вполне простительно мне не верить, но при всем своем неправдоподобии, она тем не менее вполне реальна; я часто сообщал о дурном во всей его постыдности; я редко сообщал о хорошем во всей его привлекательности, а нередко и совсем о нем умалчивал, потому что оно делало мне чересчур большую честь, и в то время, как я писал свою исповедь, получалось бы впечатление, будто я пишу себе похвальное слово. Я описал свои молодые годы, не хвастаясь счастливыми качествами, которыми было наделено мое сердце, и даже опускал события, слишком выставлявшие их напоказ. Я вспоминаю

здесь два таких случая, относящихся к раннему детству. Хотя они и приходили мне на память, когда я писал, я отбросил их на том единственном основании, о котором только что говорил.

Почти каждое воскресенье я ходил на весь день в Паки* к г-ну Фази, женатому на одной из моих теток и владевшему там ситцевой фабрикой. Однажды я был в сушильном отделении и смотрел на валы каландра;* блеск их ласкал мой взор, мне захотелось дотронуться до них, и я с удовольствием водил пальцами по лощеной поверхности цилиндра,— как вдруг молодой Фази вошел в колесо и повернул его на четверть оборота так ловко, что мне только прихватило два пальца на руке; но этого было довольно для того, чтобы кончики их оказались раздавленными и чтобы оба ногтя остались в машине. Я испустил пронзительный крик. Фази в тот же миг поворачивает колесо обратно, но ногти все-таки остались на цилиндре, и кровь потекла ручьями у меня из пальцев. Фази в ужасе кричит, выходит из колеса, обнимает меня и закликает удержаться от криков, прибавляя, что он пропал. Среди своих мук я был тронут его мукой, я умолк; мы кинулись к пруду с карпами, где он мог мне обмыть пальцы и остановить кровь с помощью мха. Он со слезами умолял меня не выдавать его; я обещал и так хорошо сдержал обещание, что даже двадцать лет спустя никто не знал, как случилось, что у меня два пальца искалечены; они навсегда остались такими. Я пролежал больше трех недель в постели и больше двух месяцев не мог владеть рукой, продолжая утверждать, что упал большой камень и раздавил мне пальцы.

Magnanima menzogna! Or qnnrulo e il vero

Si bello che si possa a te proporre?¹

[О великодушный обман! Когда же правда бывает такой прекрасной,

чтоб ее можно было предпочесть тебе? *(итал.)*]

Между тем этот несчастным случай был мне очень неприятен по особым обстоятельствам: это

было время военного обучения, обязательного для всех граждан, и я уже входил и один отряд с тремя другими мальчиками моего возраста, с которыми и должен был, одетый в форменное платье, делать упражнения вместе со всем нашим кварталом. Мне с горечью пришлось услышать барабан нашего отряда, когда он проходил под моим окном с тремя моими товарищами, в то время как я лежал в постели.

Другая моя история — совершенно такая же, но относится к более позднему возрасту.

Я играл в Плен-Пале и шары* с одним своим товарищем по имени Пленс. Во время игры мы поссорились, подрались, и он ударил меня прямо по голове молотком от широк так крепко, что, будь рука у него сильнее, он убил бы меня. Я свалился с ног. Ни разу в жизни не приходилось мне видеть такого смятенья, как у этого бедного малого, когда он увидел кровь, текущую ручьем у меня по волосам. Он подумал, что убил меня. Он кидается ко мне, целует меня, крепко сжимает в объятиях, разражаясь слезами и оглашая воздух пронзительными криками. Я тоже изо всех сил обнимал его, плача, как и он, в волнении, не лишенном некоторой приятности. Наконец он принялся останавливать кровь, продолжавшую течь из раны, и, видя, что обоим наших платков для этого не может хватить, потащил меня к своей матери, у которой был неподалеку оттуда садик. Эта добрая женщина, увидев, в каком и состоянии, чуть не лишилась чувств. Но она нашла в себе силы, чтобы заняться мной, и, как следует промыв мне рану, приложила к ней лепестки лилий, вымоченные в водке — превосходное и очень у нас распространенное средство для лечения ран. Слезы ее и ее сына так глубоко тронули меня, что я долго смотрел па нее, как на свою мать, а па пего, как на своего брата, и только когда потерял обоих из вида, понемногу их забыл.

Я хранил и тайне этот случай, так же как и первый, и со мной произошла в жизни еще сотня подобных случаев, о которых у меня не было даже никакого желания говорить в своей «Исповеди»,— так мало стремился я там выставить в выгодном свете то хорошее, что я ощущал в своем характере. Нет, если я тогда и говорил против истины, известной мне, то лишь относительно предметов безразличных и более от неумения говорить или из любви к писанью, чем ради какой бы то ни; было

личной заинтересованности, либо к выгоде или вреду для другого. И всякий, кто прочтет мою «Исповедь» беспристрастно,— если только это когда-нибудь случится,— поймет, что мои признания тем более унижительно и тяжело, чем если бы речь шла о большем зле, о котором не так стыдно говорить; но о нем я не говорил, потому что не делал его.

Из всех этих соображений вытекает, что взятое мною на себя обязательство быть правдивым опирается больше на чувство прямоты и справедливости, чем на подлинность самих предметов, и на практике я чаще следовал указаниям своей совести, чем отвлеченным понятиям правды и неправды. Я часто рассказывал басни, но очень редко лгал. Следуя своим принципам, я часто ставил себя в очень невыгодное положение перед другими, но никому не вредил и не приписывал самому себе больших достоинств, чем те, которыми обладал. Вот единственно в каком смысле, мне кажется, правда есть добродетель. Во всех остальных отношениях она для нас лишь метафизическая сущность, из которой не вытекает ни добра, ни зла. Впрочем, я не чувствую такого сердечного удовлетворения от этих различий, чтобы считать себя вполне безупречным. Взвешивая так старательно свои обязательства перед другими, довольно ли внимательно рассмотрел я обязательства по отношению к самому себе? Если надо быть справедливым к ближнему, то надо быть правдивым и с собой: это дань уважения, которую порядочный человек обязан воздавать своему собственному достоинству. Когда моя беспомощность в разговоре вынуждала меня прибегать к невинным вымыслам, я поступал неправильно, потому что не надо для забавы другого унижать себя; а когда, увлеченный удовольствием писать, я прибавлял к действительным фактам выдуманные прикрасы, то поступал еще неправильней, потому что прикрашивать истину баснями — на самом деле значит исказить ее.

Но еще более непростительным делает все это девиз, выбранный мной. Девиз обязывал меня больше всякого другого к самому строгому соблюдению истины, и недостаточно было, чтобы я всегда жертвовал ей своими интересами и склонностями: мне надо было также принести ей в жертву свою слабость и свой робкий характер. Надо было иметь смелость и силу быть правдивым всегда,

при всех обстоятельствах, и сделать так, чтобы никогда не выходило ни одной выдумки или басни из уст и из-под пера человека, посвятившего себя истине.

Вот что я должен был бы сказать себе, беря этот гордый девиз, и беспрестанно повторять это все время, пока отваживался иметь его. Никогда мои обманы не бывали продиктованы лживостью, все они были порождены слабостью,— но это для меня очень плохое оправдание. С душою слабой можно, самое большее, оградиться от порока, но было бы дерзко и безрассудно осмеливаться исповедовать великие добродетели.

Вот размышления, которые, вероятно, никогда не пришли бы мне в голову, если бы аббат Р. не навел меня на них. Теперь слишком поздно, конечно, пытаться ими воспользоваться; но не поздно по крайней мере исправить ошибку и вернуть свою волю на правильный путь: отныне это все, что зависит от меня. Таким образом, в этом и во всех подобных вопросах, правило Солона применимо ко всякому возрасту, и никогда не поздно учиться, даже у врагов, быть воздержанным, правдивым, скромным и не переоценивать себя.

ПРОГУЛКА ПЯТАЯ

Из всех мест, где мне приходилось жить (а среди них были очаровательные), ни одно не заставило меня испытать столь истинное счастье и не оставило во мне столь нежных сожалений, как остров Сен-Пьер, посреди Бьенского озера. Этот островок, который в Невшателе называют островом Ламотта, даже в Швейцарии очень мало известен. Насколько я знаю, ни один путешественник не упоминает о нем. Между тем он очень приятен и удачно расположен для счастья человека, любящего уединение; хотя я, может быть, и единственный в мире, для кого судьба превратила уединение в закон, но не могу думать, чтобы я один обладал прирожденным влечением к одиночеству, пусть мне до сих пор и не приходилось обнаруживать эту склонность ни у кого другого.

Берега Бьенского озера более дики и романтичны, чем берега Женевского озера, потому что скалы и леса тесней обступают здесь воду; но от

этого они не менее приветливы. Если здесь меньше возделанных полей и виноградников, меньше городов и домов, меньше искусственных насаждений, зато больше лугов, тенистых приютов в рощах, больше контрастов и более сосредоточенное разнообразие. Так как на этих счастливых берегах нет больших дорог, удобных для экипажей, этот край мало посещается путешественниками; но он привлекателен для одиноких созерцателей, любящих на приволье опьяняться чарами природы и погружаться в тишину, не возмущаемую ничем, кроме крика орлов, прерывистого щебетанья немногочисленных птиц и грохота катящихся с горы потоков. Посредине этого красивого водоема, почти круглой формы,— два островка: один населенный и возделанный, имеющий около полулье в окружности; другой поменьше, пустынный и нетронутый, который в конце концов будет разрушен, оттого что оттуда беспрестанно берут землю для исправления повреждений, причиняемых большому острову волнами и бурями. Так-то вот достояние слабого всегда идет в пользу сильного.

На первом острове только один дом, но большой, уютный и удобный; он принадлежит, как и сам остров, Бернской больнице, и живет в нем сборщик податей со своим семейством и прислугой. У него там при доме большой птичий двор, вольеры и садки для рыбы. Остров при своих малых размерах отличается очень разнообразным характером местности и почвы, пригодной для всех культур. Здесь есть поля, виноградники, леса, плодовые сады, тучные пастбища, осененные рощами и окруженные всевозможными кустарниками, свежесть которых поддерживается близостью воды. Вдоль острова, во всю его длину идет высокая терраса, усаженная двумя рядами деревьев, а посреди нее выстроен красивый павильон, в котором жители соседних берегов собираются и танцуют по воскресеньям во время сбора винограда.

На этот-то остров я и бежал после того, как меня забросали камнями в Мотье. Пребывание на нем показалось мне таким очаровательным, мой образ жизни там так хорошо отвечал моему праву, что, решив окончить на этом острове свои дни, я не испытывал другого беспокойства, кроме как при мысли, что мне по дадут осуществить этот замысел, противоречащий намерению некоторых людей

завлечь меня в Англию, первые проявления чего я уже заметил. Под влиянием тревожных предчувствий я желал, чтобы этот приют сделали мне вечной тюрьмой, заточили меня там на всю жизнь и, отняв у меня всякую возможность выйти оттуда и всякую надежду на это, запретили мне какое бы то ни было общение с материком,— и я, не зная, что делается в мире, забыл бы о его существовании, а он точно так же забыл бы о моем.

Мне позволили провести на этом острове только два месяца, но я провел бы там два года, два столетия, целую вечность, ни на минуту не соскучившись, несмотря на то что у меня и моей подружки не было там другого общества, кроме сборщика податей, его жены и домашних,— по правде говоря, только очень добрых людей — и ничего больше; по это было как раз то, в чем я нуждался. Я считаю эти два месяца самым счастливым временем в своей жизни,— настолько счастливым, что удовольствовался бы навсегда таким существованием, и ни на одно мгновение в душе моей не возникло бы желание оказаться в другом положении.

Что же это было за счастье и какие радости давало оно? Я предоставляю догадываться об этом всем людям нашего века по описанию той жизни, какую я там вел. Драгоценное *dolce far niente* [Приятное безделье (*итал.*)] было первым и главным из тех наслаждений, которые я хотел изведать во всей их прелести; и все, что я делал за время своего просыпания там, и самом деле сводилось к восхитительным и неизбежным занятиям человека, предавшегося безделью.

Надежда на то, что меня будут рады оставить в этом уединенном месте, куда я сам забрался, откуда мне невозможно было выйти незаметно и без посторонней помощи и где у меня не могло быть ни сношений, ни переписки иначе, как через посредство людей, меня окружавших,— эта надежда, говорю я, влекла за собой другую: что я кончу здесь дни свои спокойней, чем жил до тех пор; и мысль, что у меня будет время устроиться здесь не торопясь, привела к тому, что я так и не приступил ни к какому устройству. Переселенный туда внезапно и без вещей, я перевез туда сначала свою домоправительницу, затем свои книги и свое маленькое обзаведенье, причем доставил себе

удовольствие ничего не распаковывать, оставив свои ящик и чемоданы в том виде, как они прибыли; и в том доме, где рассчитывал остаться до конца дней, я жил, как в гостинице, откуда должен был выехать на другой же день. Все, как оно было, шло так хорошо, что стремиться улучшить — значило бы что-то испортить. Одно из самых больших моих наслаждений заключалось в том, чтобы держать свои книги заколоченными в ящиках и не иметь чернильницы. Когда злосчастные письма вынуждали меня взяться за перо для ответа, я, ворча, брал чернильницу у сборщика и спешил вернуть ее, в тщетной надежде, что больше не придется обращаться к нему за этим. Вместо унылого бумажного хлама и всего этого книжного старья я наполнял свою комнату цветами и сеном, потому что я был тогда во власти своего первого увлечения ботаникой, к которой доктор д'Ивернуа пробудил во мне интерес, скоро превратившийся в страсть. Поскольку я не хотел заниматься работой, мне надо было найти какое-нибудь приятное развлечение, которое утруждало бы меня не больше, чем это по вкусу ленивцу. Я решил составить *Flora Petrinsularis* [Флору острова Сен-Пьер (*лат.*)] и описать все до одного растения этого острова достаточно подробно, чтобы занять такой работой весь остаток моих дней. Говорят, какой-то немец написал книгу о лимонной цедре, а я написал бы книгу о каждом луговом злаке, о каждом лесном мхе, о каждом лишайе на скалах; я не хотел оставить ни одной травинки, ни одного атома растений без обширного описания. В итоге этого превосходного замысла каждое утро, после завтрака, который был у нас общим, я отправлялся с лупой в руке и своей «*Systema naturae*»* под мышкой па какой-нибудь участок острова, который я разделил на маленькие квадраты, чтобы осмотреть их один за другим в каждое время года. Нет ничего необычнее того восхищения, тех восторгов, которые я испытывал при каждом своем наблюдении над устройством и организацией растений и над действием органов размножения при оплодотворении, система которого была тогда для меня совсем новой. Различие родовых особенностей, о котором я раньше не имел ни малейшего представления, приводило меня в восхищение, когда я проверял его на обыкновенных видах, в ожидании того, когда мне попадутся более редкие. Разветвление обеих длинных тычинок терна,

пружина, образуемая тычинками крапивы и стенницы, разрыв плода у бальзамина и капсулы у букса, тысяча маленьких затей оплодотворения, впервые мной наблюдаемых, наполняли меня радостью, и я готов был спрашивать, видел ли кто рога терна, как Лафонтен спрашивал, читали ли Аввакума. Через два-три часа я возвращался с обильной жатвой — источник развлечения па весь день под кровлей дома в случае дождя. Остаток утра уходил у меня на посещение сада, вместе с Терезой, сборщиком, его женой и их работником и на сбор плодов, причем чаще всего и я прилагал свою руку к этому делу вместе с ними; и часто бернцы, придя ко мне, находили меня на большом дереве, с мешком у пояса, который я наполнял плодами, а потом спускал на землю при помощи веревки. Благодаря утренней прогулке и хорошему расположению духа, от нее не отделимому, отдых за обедом был очень приятен; но когда он слишком затягивался, а хорошая погода манила меня, я не мог так долго ждать и, пока другие еще сидели за столом, ускользал и бросался один в лодку, которую направлял на середину озера, когда оно было спокойно; вытянувшись во весь рост на дне лодки и устремив глаза к небу, я позволял воде медленно относить меня в любую сторону; иной раз я лежал так несколько часов подряд, погруженный в тысячу смутных, но восхитительных грез, которые, не имея определенного и постоянного предмета, тем не менее были мне во сто раз милее всех так называемых радостей жизни, даже самых приятных. Нередко, оповещенный заходом солнца о необходимости возвращаться, я оказывался так далеко от острова, что мне приходилось грести изо всех сил, чтобы вернуться домой до наступления ночи. А иногда, вместо того чтоб отплыть куда-нибудь подальше, я предпочитал блуждать у зеленеющих берегов острова, где прозрачная вода и свежая тень нередко соблазняли меня выкупаться. Но одним из самых частых моих путешествий по воде была переправа с большого острова на малый; я высаживался па этот островок и проводил там послеобеденное время, прогуливаясь по узкой полосе берега, среди ив, крушины, тысячелистников, всевозможных деревцев, то устраиваясь на вершине песчаного холмика, покрытого травой, кустиками тимьяна, цветами, даже эспарцетом и клевером, видимо когда-то там посеянными, и очень подходящего для заселения его кроликами, которые

могли бы там спокойно размножаться, ничего не опасаясь и не причиняя никакого вреда. Я подал эту мысль сборщику; он велел привезти из Невшателя кроликов, самцов и самок, и мы, то есть его жена, одна из ее сестер, Тереза и я, торжественно отправились водворять их на маленьком острове, где они начали размножаться еще до моего отъезда и где, несомненно, будут благоденствовать, если только выдержали суровые зимние холода. Основание этой маленькой колонии было праздником. Кормчий аргонатов был горд не больше меня, когда я торжественно перевозил нашу компанию и кроликов с большого острова на малый, и я с удовлетворением заметил, что жена сборщика, до крайности боявшаяся воды и всегда плохо себя чувствовавшая на ней, под моим руководством вошла в лодку с доверием и во время переезда не обнаружила ни малейшего страха.

Когда волнение на озере мешало моему плаванию, я проводил середину дня в прогулке по острову, с увлечением гербаризируя, останавливаясь то в самых приветливых и уединенных уголках, чтобы помечтать там спокойно, то на террасах и холмах, чтобы полюбоваться великолепным и восхитительным видом озера и его берегов, с одной стороны увенчанных ближними горами, а с другой расширяющихся в богатые и плодородные долины; устремляясь на них, мой взгляд достигал более отдаленных голубоватых гор, служивших ему пределом.

Когда приближался вечер, я спускался с высот острова и с удовольствием садился на песчаном берегу озера, в каком-нибудь скрытом от глаз приюте; там шум и перебаты волн, приковывая к себе мои чувства и удаляя из души моей всякое другое волнение, погружали ее в сладостное мечтанье; так нередко застигала меня ночь, и я даже не замечал этого. Прилив и отлив воды и протяжный, время от времени усиливающийся шум ее беспрестанно поражали мой слух и зрение, заменяя то внутреннее движение, которое мечтанье угашало во мне; и их было достаточно, чтобы я с наслаждением ощущал свое существование, не давая себе труда мыслить. Иногда возникало какое-нибудь слабое и мимолетное размышление о непрочности всего сущего в этом мире, образом чего была для меня поверхность озера; но скоро эти

легкие впечатленья исчезали в однообразии баюкавшего меня непрерывного движения волн, и, без всякого действительного участия моей души, это движение приковывало меня настолько, что не раз, призываемый условным часом и сигналом, я отрывался от него лишь с величайшими усилиями.

После ужина, если вечер был хорош, я шел еще раз со всеми вместе немного погулять на террасе и подышать там свежим воздухом и прохладой озера. Мы отдыхали в павильоне, смеялись, болтали, пели какую-нибудь старинную песню, которая, право, стоила современных вывертов, и, наконец, шли спать, довольные проведенным днем и не желая ничего, кроме другого такого же па завтра.

Таков был, если оставить в стороне неожиданных и докучных посетителей, тот образ жизни, который я вел на этом острове во время моего пребывания там. Пусть теперь мне объяснят, что в нем такого привлекательного, почему он пробуждает в моем сердце столь сильное, ножное и, долгое сожаленье о нем, что и спустя пятнадцать лет стоит мне вспомнить об этой милой местности, как я каждый раз чувствую себя снова перенесенным туда порывом моего желания.

Среди превратностей долгой моей жизни я заметил, что больше всего меня привлекают и трогают не те воспоминания, которые остались у меня о самых сладких восторгах и самых ярких наслаждениях. Краткие минуты исступления и страсти, как бы ярки они ни были, тем не менее — именно в силу своей яркости — не что иное, как только точки, разбросанные па линии жизни. Они слишком редки и быстротечны, чтобы определять состоянье, в котором находится человек; между тем как счастье, о котором сожалеет мое сердце, состоит не из беглых мгновений, а есть состоянье цельное и постоянное, не заключающее в себе, как таковое, ничего яркого; однако длительность так увеличивает его очарованье, что в конце концов оно становится величайшим блаженством.

Все на земле — в беспрестанном течении. Нет ничего, что сохраняло бы прочную и устоявшуюся форму, и наши привязанности, направленные на внешние предметы, неизбежно проходят и меняются, как они. Всегда опережая нас или оставаясь позади, они напоминают о прошлом, которого уже нет, или предвосхищают будущее, которому часто не суждено

наступить; нет на земле ничего надежного, к чему сердце могло бы привязаться. Потому-то мы и не знаем иных наслаждений, кроме преходящих; что же до длительного счастья, то сомневаюсь, чтобы оно было людям известно. Едва ли случается испытать нам среди самых ярких наслаждений такое мгновенье, когда сердце действительно может сказать нам: «Я хотел бы, чтоб это мгновенье длилось вечно». И как можно называть счастьем мимолетное состояние, оставляющее у нас в сердце тревогу и пустоту, заставляющее нас сожалеть о чем-то в прошлом либо желать еще чего-то впереди?

Но если есть состоянье, в котором душа находит достаточно прочную опору, чтобы целиком на ней основаться и сосредоточить все свое существование в настоящем, не нуждаясь ни в воспоминаниях прошлого, ни в мыслях о будущем; состоянье, в котором время — ничто, в котором настоящей все длится, не давая, однако, чувствовать своей длительности и не храня на себе следов смены дней, не вызывая никакого чувства лишения или радости, удовольствия или страдания, желания или страха, наполняя всю душу единственным чувством того, что мы существуем; пока такое состояние длится, тот, кто в нем находится, может считать его счастьем; не тем несовершенным, бедным и относительным счастьем, которое доставляют жизненные наслаждения, но счастьем достаточным, совершенным и полным, не оставляющим в душе никакой пустоты, которую у нее была бы потребность заполнить. И в таком состоянии я часто находился на острове Сен-Пьер во время своих одиноких мечтаний, лежа ли в лодке, которую пускал по воле течения, сидя ли на берегу волнующегося озера, в другом ли месте — на берегу красивой реки или журчащего по камешкам ручья.

Чем наслаждаешься в подобном положении? Ничем внешним по отношению к себе, ничем, кроме самого себя и своего собственного существования; пока длится это состояние, ты доволен сам собой, как бог. Ощущенье существования, освобожденное от всех других впечатлений, представляет само по себе драгоценное чувство удовлетворенности и покоя, которого одного было бы достаточно, чтобы сделать это существование милым и радостным всякому, кто умеет отстранять от себя все чувственные, земные впечатления, беспрестанно появляющиеся, чтобы

отвлечь нас от него и нарушить в этом мире его сладость. Но большинство людей, беспрестанно волнуемое страстями, мало знакомо с этим состоянием и, узнав его только несовершенно, в течение кратких минут, сохраняет о нем лишь тусклое и смутное представление, не позволяющее им почувствовать его очарование. Было бы даже нехорошо, если бы при теперешнем положении вещей они стремились к этим тихим восторгам и ради них отвратились бы от деятельной жизни, которую им предписывают вести их всегда возрождающиеся потребности. Но несчастный, отлученный от человеческого общества и уже неспособный сделать здесь, на земле, ничего полезного и доброго ни для ближнего, ни для самого себя, может найти в этом состоянии замену всех человеческих радостей, и ни судьба, ни люди не в силах отнять ее у него.

Правда, замена эта может быть воспринята не каждой душой и не во всех положениях. Нужно, чтобы в сердце, был мир и чтобы никакая страсть не возмущала его покоя. Нужно, чтобы тот, кому она дана, был к ней предрасположен и чтобы его предрасполагало к ней известное сочетание окружающих его предметов. При этом не нужно ни полного покоя, ни чрезмерного волнения, но необходимо однообразное и умеренное движение, без перерывов и толчков. Без движения — жизнь только летаргический сон. Если движение неровно или слишком сильно, оно пробуждает; возвращая нас к окружающим предметам, оно разрушает очарование грез и вырывает нас из глубины нас самих, чтобы тотчас же подчинить нас игу судьбы и людей и вернуть к сознанию наших несчастий. Полное безмолвие ведет к печали. Оно производит впечатление смерти. Тут необходима помощь радостного воображения, и она довольно естественно является к тем, кого одарило им небо. Движение, если оно не приходит извне, совершается тогда внутри нас. Покой менее спасителен, это правда, но он тоже приятен, когда легкие и сладостные мысли, не волнуя глубин души, так сказать, только задевают ее поверхность. Их нужно ровно столько, чтобы мы помнили о самих себе, забывая все свои горести. Таким мечтанием можно питаться всюду, где есть возможность чувствовать себя спокойно; и мне часто приходило в голову, что в Бастилии и даже в темнице, где ни один предмет не

был бы доступен моему зрению, я мог бы все еще приятно мечтать.

Но нужно признать, что мне мечталось гораздо лучше и приятней на плодородном уединенном острове, естественно ограниченном и отделенном от остального мира,— там, где мне всюду открывались приветливые образы, где ничто не наводило на меня печальных воспоминаний, где у меня было общество его немногочисленных обитателей, обходительных и милых, хоть и не интересное в том смысле, чтобы беспрестанно занимать меня; где я мог, наконец, весь день беспрепятственно и беззаботно отдаваться излюбленным занятиям или самой изнеженной праздности. Обстановка была, без сомнения, удачной для мечтателя. Умея питаться приятными химерами среди самых отталкивающих предметов, я мог вдоволь насыщаться ими, заставляя участвовать в них все, что в действительности поражало чувство. Очнувшись после долгих и сладких мечтаний, видя себя окруженным зеленью, цветами, птицами и окидывая взглядом романтические берега, окаймляющие вдали широкое пространство светлой и кристально-прозрачной воды, я соединял со своими фантазиями все эти любезные мне предметы; и когда наконец я видел, что постепенно возвращаюсь к самому себе и к окружающему,— я уже не мог ощутить границы между фантазией и реальностью, до такой степени все в равной мере делало мне дорогой ту сосредоточенную и одинокую жизнь, которую я вел в этом прекрасном месте. Зачем не может она вновь возродиться! Зачем не могу я окончить дни свои на этом милом мне острове, никогда не покидая его и но видя на нем более никого из жителей материка, кто приводил бы мне на память всевозможные бедствия, вот уже столько лет злорадно ими па меня насылаемые! Я скоро позабыл бы о них навсегда; они-то, конечно, не забыли бы меня, но не все ли равно было бы это мне, лишь бы только они не имели туда доступа, чтобы смущать мой покой. Освободившись от всех земных страстей, порождаемых житейской сутолокой, душа моя часто устремлялась бы за пределы этой атмосферы и заранее установила бы общение с небесными духами, в число которых она надеется в скором времени вступить. Я знаю, люди остерегутся вернуть мне столь отраднейший приют, в котором они не захотели меня оставить. Но они по крайней мере не помешают мне каждый день переноситься туда на

крыльях воображения и по несколько часов вкушать такое же наслаждение, как если бы я еще там жил. Самым отрадным моим занятием там было бы мечтать на покое. Но мечтая, будто я снова там живу, — разве я не предаюсь тому же занятию? Я делаю даже больше: к привлекательности мечтанья отвлеченного и однообразного присоединяю очаровательные образы, его оживляющие. Предметы их часто ускользали от меня среди моих восторгов; а теперь чем глубже я ухожу в свои мечты, тем живей они мне рисуют их. В воображении я часто ощущаю их в большей мере и с большей приятностью, чем когда это было в действительности. Несчастье в том, что, по мере того как воображение остывает, картины эти возникают с меньшей легкостью и уже не длятся так долго. Увы! как раз когда начинаешь покидать свою оболочку, сильнее всего бываешь стеснен ею!

ПРОГУЛКА ШЕСТАЯ

У нас не возникает такого бессознательного движения, причину которого мы не могли бы найти в своем сердце, если бы только умели как следует искать.

Вчера, проходя по новому бульвару, чтобы заняться собиранием гербария на берегу Бьевры, возле Жантйи* я сделал крюк вправо, приблизился к «Адской заставе» и, свернув в поле по дороге на Фонтенбло *, поднялся на высоты, окаймляющие эту речку. Прогулка эта была сама по себе ничем не замечательна, но, вспомнив, что я несколько раз бессознательно уже делал такой обход, я стал искать причину этого, в самом себе и не мог удержаться от смеха, когда мне удалось до нее добраться.

В одном уголке на бульваре, у «Адской заставы», женщина продает летом фрукты, настойку и хлебцы. У этой женщины есть маленький мальчик, очень славный, но хромой; ковыляя и а костылях, он как-то очень приветливо просит милостыню у прохожих. Я свел с этим человечком своего рода знакомство; каждый раз, увидев меня, он не пропускал случая подойти ко мне, поздороваться и получить мою маленькую лепту. Сперва я очень радовался этим встречам, подавая ему от всего сердца, и это продолжало все так же нравиться мне некоторое

время, причем сюда присоединялось еще удовольствие от его болтовни, которую я сам вызывал и слушал, находя ее милой. Но удовольствие это, став привычкой, не знаю как — превратилось в своего рода обязанность, и я скоро почувствовал ее стеснительность, в особенности из-за предварительной речи, которую мне приходилось выслушивать и в которой он не упускал случая несколько раз назвать меня «господин Руссо», чтобы показать, что хорошо меня знает; но это, напротив, доказывало мне, что он знает меня не больше, чем те, кто научил его. С тех пор я стал проходить там уже не так охотно и наконец бессознательно взял привычку как можно чаще, приближаясь к этому месту, делать обход.

Вот что я обнаружил после размышленья — потому что до тех пор ничего из всего этого не возникало у меня в мыслях. Это наблюдение напомнило мне постепенно множество других, подтвердивших, что истинные и первоначальные побуждения, лежащие в основании большинства моих поступков, мне самому не так ясны, как я это долгое время воображал. Я знаю и чувствую, что делать добро — самое истинное счастье, какое только может быть ведомо человеческому сердцу; но уже давно это счастье сделали для меня недоступным, и не в таком жалком положении, как мое, можно надеяться совершить разумно и с пользой хоть один действительно добрый поступок. Так как величайшая забота людей, управляющих моей судьбой, состоит в том, чтобы все стало для меня только ложной и обманчивой видимостью, добродетельный повод — всегда только приманка, мне предлагаемая, чтобы завлечь меня в западню. Я знаю это; знаю, что отныне единственное благо, которое в моей власти,— это воздерживаться от действий, из боязни поступить дурно по неведению и против воли.

Но были и более счастливые, времена, когда, следуя движениям своего сердца, я мог иногда доставить радость другому сердцу, и должен к чести своей сказать, что каждый раз как у меня была возможность испытать это наслаждение, я находил его отрадней всякого другого. Эта склонность была сильной, истинной, чистой, и ничто в самых глубоких тайниках моего существа никогда не шло против нее. Однако не раз я чувствовал тяжесть собственных

благодеей — из-за той цепи обязанностей, которую они влекли за собой; тогда наслаждение исчезало, и я уже не находил в продолжении тех самых забот, которые сперва очаровывали меня, ничего, кроме почти невыносимого стеснения. В дни моего краткого благополучия много народа обращалось ко мне, и ни разу, если только я был в состоянии оказать услугу, я никому в ней не отказывал. Но из этих первых благодеей, совершенных в сердечном порыве, рождались цепи последующих обязательств, мной не предвиденных и от ига которых я уже не мог освободиться. Первые мои услуги были в глазах тех, на кого они были направлены, только залогом последующих; и как только какой-нибудь несчастный накидывал на меня аркан полученного им благодеей, как все было кончено: первое свободное и добровольное благодеей становилось источником неограниченных прав благодетельствованного на всякую помощь, какая ему понадобится в будущем, и от этого меня не освобождало даже бессилие помочь. Вот как самые глубокие радости становились для меня со временем тяжелой зависимостью.

Правда, эти цепи не казались мне чересчур обременительными, пока, незнакомый публике, я жил в неизвестности. Но как только личность моя была выдвинута вперед моими сочинениями,— что было, несомненно, тяжелой ошибкой, которую я, впрочем, больше чем искупил своими несчастьями,— с тех пор я стал присяжным попечителем для всех страдальцев, истинных или мнимых, для всех авантюристов, ищущих дурака, для всех, кто под предлогом большого веса, который они якобы мне приписывали, хотели тем или иным способом завладеть мной. Тогда-то мне пришлось узнать, что все естественные склонности, не исключая благотворительности, направленные и осуществляемые в обществе без должного благоразумия и выбора, перерождаются и становятся столь же вредными, сколь они были полезны в первоначальном своем порыве. Жестокие испытания мало-помалу изменили первоначальное мое умонастроение или, вернее, введя его наконец в настоящие границы, научили меня не так безрассудно следовать моей склонности делать добро, раз она только поощряет злую волю в других.

Но я не жалею, что мне пришлось изведать эти испытания, потому что они дали мне благодаря размышлению новые знания о себе самом и о подлинных основаниях моих поступков при тысяче обстоятельств, относительно которых я так часто бывал в заблуждении. Я увидел, что, для того чтобы творить добро с наслаждением, мне надо действовать свободно, без принуждения, а для того чтобы для меня исчезла вся радость доброго дела, достаточно, чтоб оно стало для меня долгом. Тяжесть обязательства превращает для меня в бремя самые глубокие радости, и, как я сказал, кажется, в «Эмиле», у турок я был бы плохим мужем в тот час, когда клич глашатая призывает их к выполнению супружеских обязанностей.

Вот что сильно изменяет мнение, которого я долго держался относительно собственной добродетели: теперь я вижу — она не в том, чтобы следовать своей склонности и доставлять себе, когда захочется, удовольствие доброго дела, а в том, чтобы побеждать свою склонность, когда этого требует долг, и делать, что он предписывает; а это-то как раз я умел делать меньше, чем кто-либо в мире. От природы чувствительный и добрый, жалостливый до слабости, чувствуя, что душа моя восхищается всем, что носит печать великодушия, я был человеколюбив, оказывал помощь и благодеяния по склонности, даже со страстной готовностью, пока к этому привлекали только мое сердце; будь я самым могущественным ил людей, я был бы лучшим и самым милосердным из них, и чтобы погасить в себе всякое желанье мести, для меня довольно было бы возможности мстить. Мне было бы даже нетрудно быть справедливым в ущерб своим собственным интересам; но в ущерб интересам тех, кто мне дорог, и я не мог бы решиться им быть. Как только мой долг и мое сердце вступали в противоречие, первый редко одерживал победу,— разве только если речь шла о том, чтоб воздержаться от действия; в этих случаях я чаще всего оказывался сильным; но действовать против своей склонности было для меня всегда невозможно. Будут ли мне повелевать люди, долг или сама необходимость,— если мое сердце молчит, воля моя остается глухой, и я не в состоянии повиноваться. Видя угрожающее мне зло, я предпочитаю предоставить ему надвигаться, чем беспокоить себя, стараясь предотвратить его. Иногда я начинаю с усилия, но усилие это очень скоро

утомляет и ослабляет меня; и я уж не могу продолжать. Все, что я делаю без удовольствия, мне скоро становится невозможно продолжать.

Больше того. Достаточно принуждения и в том, что согласно с моим желанием, чтобы последнее было уничтожено и превратилось в отрицание, даже в отвращение, как только принуждение становится слишком сильным. Вот почему мне бывает тягостным благодеяние, которого требуют, между тем как я оказывал его по собственному почину, когда этого не требовали от меня. Благодеяние совершенно бескорыстное мне, безусловно, но душе. Но когда тот, кому оно было оказано, смотрит на него как на основание требовать продолжения под угрозой своей ненависти, когда он считает моей обязанностью навсегда остаться его благодетелем за то удовольствие, какое я испытывал сначала,— с этого времени начинается стеснение, и удовольствие исчезает. Все, что я делаю тогда, уступая требованиям, есть лишь слабость и ложный стыд, а доброй воли уже больше нет, и я не только не торжествую внутренне, но упрекаю себя пород лицом своей совести за благодеяния, совершаемые неохотно.

Я знаю, что между благодетелем и благодетельствуемым существует своего рода договор, и даже самый священный из всех. Они вступают друг с другом как бы в сообщество более тесное, чем то, которое обычно связывает людей; и если благодетельствуемый берет на себя молчаливое обязательство благодарности, то благодетель также берет на себя обязательство сохранять к нему, пока он будет оставаться достойным этого, свое первоначальное доброе отношение и по мере возможности оказывать ему помощь всякий раз, как потребуется. Это, конечно, не выраженное условие, но естественное следствие связи, установившейся между ними. Кто в первый раз отказывает в бескорыстной услуге, о которой его просят, тот не дает получившему отказ никакого основания жаловаться; но кто раз подал такую помощь, а затем в подобном же случае отказывает в ней тому же самому лицу,— тот разрушает надежду, порожденную им самим, обманывает и отвергает ожидание, им же самим вызванное к жизни. В этом отказе чувствуется что-то несправедливое и более жестокое, чем в первом, но тем не менее он есть

следствие любезной сердцу независимости, от которой нелегко отрешиться. Платя долг — я исполняю обязанность; даря — доставляю себе удовольствие. По удовольствие, доставляемое исполнением своих обязанностей, принадлежит к числу тех, которые порождаются только привычкой к добродетели; удовольствия, доставляемые нам непосредственно нашей природой, не поднимаются так высоко.

После многих печальных испытаний я научился заранее предвидеть последствия своих первых душевных движений и часто воздерживался от доброго дела, которое желал и мог совершить, из боязни зависимости, в которую мог бы попасть, если б необдуманно решился на это. Я не всегда испытывал эту боязнь: напротив, в молодости я привязывался к людям именно за свои благодеянья и нередко чувствовал также, что те, кому я делал одолжение, привязывались ко мне из благодарности еще более, чем из выгоды. Но и в этом отношении, как во всяком другом, обстоятельства сильно изменились, как только начались мои несчастья. С тех пор я стал жить среди нового поколения, не похожего на прежнее, и мои собственные чувства к людям претерпели те самые изменения, какие я обнаружил в их чувствах. Одни и те же люди, которых я видел последовательно в обоих этих столь разных поколениях, так сказать, последовательно ассимилировались в том! и другом. Превратившись из правдивых и откровенных, какими были вначале, в тех, какие они теперь, они поступили, как все остальные. Изменились времена, изменились точно так же и люди. Как же я мог бы сохранить прежние чувства к тем, в ком я нахожу обратное тому, что породило эти чувства! Я не испытываю ненависти, потому что не умею ненавидеть; но не могу удержаться от презрения, которого они заслуживают, и не могу запретить себе проявлять его.

Может быть, я сам, не замечая этого, изменился больше, чем было нужно. Но какой же характер остался бы неизменным в положении, подобном моему? Убежденный двадцатилетним опытом, что все счастливые склонности, которыми только одарила мое сердце природа, обращены моей судьбой и теми, кто ею распоряжается, к невыгоде для меня самого или для ближнего, я уже не могу

больше смотреть на доброе дело, которое мне дают возможность совершить, иначе как на ловушку, мне расставленную и скрывающую какое-нибудь зло. Я знаю, что, каковы бы ни были последствия поступка, меня нельзя лишить заслуги доброго намеренья. Да, эта заслуга всегда налицо, бесспорно,— но внутреннего очарования уже нет; а как только у меня пет этого стимула, я не чувствую ничего, кроме безразличия и ледяного холода внутри. И сознание, что вместо действия в самом деле полезного я совершаю поступок одураченного человека, вызывает во мне самолюбивое негодование, внушающее мне, заодно с возражениями разума, только отвращенье и протест там, где в своем естественном состоянии я был бы полон горячего рвения.

Бывают превратности, возвышающие и укрепляющие душу, но бывают и такие, что принижают и убивают ее; таковы те бедствия, жертвой которых я являюсь. Если бы во мне было хоть сколько-нибудь семян зла, бедствия мои вызвали бы обильное их проращение, заставили бы меня неистовствовать; а на самом деле несчастья превратили меня в ничто. Не имея возможности сделать добро ни себе самому, ни ближнему, я воздерживаюсь от действий; и это состоянье, невинное только потому, что оно вынужденно, заставляет меня находить какую-то своеобразную отраду в том, чтобы отдаваться полностью и без угрызений своей прирожденной склонности. Я, несомненно, захожу слишком далеко: избегаю поводов действовать даже там, где не вижу ничего, кроме возможности сделать добро. Но, будучи убежден, что мне не дадут увидеть вещи такими, каковы они есть, я воздерживаюсь, боясь судить о них по внешности, которую им придают; и какую бы заманчивость ни сообщали поводам к действию,— достаточно того, что поводы эти оказались в пределах моих возможностей, чтобы я был уверен, что они ложны.

Судьба моя, как видно, еще в детстве расставила мне ловушку, из-за которой я надолго получил склонность попадать во все другие. По натуре я самый доверчивый из людей, и в течение целых сорока лет эта доверчивость ни разу не была обманута. Внезапно очутившись в ином мире людей и отношений, я стал попадать в бесчисленные

западни, ни разу не заметив ни одной, и двадцатилетний опыт едва-едва мог просветить меня относительно собственной моей участи. Убедившись однажды, что во всех расточаемых мне любезных ужимках — только ложь и лицемерие, я быстро перешел к другой крайности: раз покинув свое естественное состояние, уже не встречаешь границ, которые бы тебя удерживали. С тех пор я проникся отвращением к людям, и моя воля, в этом отношении согласная с их волей, держит меня в еще большем удалении от них, чем они этого могут достигнуть своими ухищрениями.

Но пусть они делают, что хотят,— отчужденность эта никогда не дойдет до враждебности. Когда я думаю, в какую зависимость от меня они себя поставили, чтобы держать меня в зависимости от них, я испытываю к ним настоящую жалость. Если я несчастен, то и они тоже; и каждый раз, как я углубляюсь в себя, я нахожу, что их нужно жалеть. Может быть, к этим суждениям еще примешивается гордость, но я чувствую себя выше их, чтобы их ненавидеть. Они могут вызывать во мне самое большое — презренье, но ненависть — никогда; наконец я слишком люблю самого себя, чтобы быть в состоянии ненавидеть кого бы то ни было. Ненавидеть — значило бы суживать, подавлять свое существование, а я скорей хотел бы распространить его на всю вселенную.

Я предпочитаю бежать от них, чем их ненавидеть. Вид их поражает мои чувства, а через них и мое сердце впечатленьями, которые множество жестоких взглядов делают тягостными; по неприятное чувство прекращается, как только исчезает вызывающий его предмет. Я занимаюсь ими совершенно помимо своей воли, под влиянием их присутствия, но никогда — под влиянием воспоминанья. Когда я их не вижу, они для меня все равно что не существуют.

Они даже и безразличны для меня только в том, что касается меня; в их отношениях между собой они еще могут интересоваться и волновать меня, как действующие лица драмы, которую я вижу на сцене. Нужно было бы уничтожить мое нравственное существо, чтобы справедливость стала мне безразличной. Зрелище несправедливости и злобы заставляет еще мою кровь кипеть от гнева; добродетельные поступки, в которых я не вижу ни бахвальства, ни рисовки, всегда заставляют меня

встрепенуться от радости и еще исторгают у меня сладкие слезы. Но я должен сам видеть и оценить эти поступки, потому что после истории, которая произошла со мной, надо быть безумным, чтобы в чем-либо присоединиться к суждению людей и поверить чему бы то ни было со слов другого.

Если б мой облик и мои черты были настолько же незнакомы людям, как мой характер и весь внутренний склад, мне бы еще было не трудно среди них. Их общество даже могло бы мне нравиться, до тех пор пока я оставался бы для них совершенно чужим. Отдавшись без стеснения своим естественным склонностям, я еще любил бы людей, если б они никогда не обращали внимания на меня. Я относился бы к ним с полным и самым бескорыстным доброжелательством, но, никогда не привязываясь ни к кому из них в отдельности и не накладывая на себя ярма какой бы то ни было обязанности, я делал бы для них свободно, по собственному побуждению все, что они с таким трудом делают из самолюбия или подчиняясь всяким своим законам.

Если б я оставался свободным, неизвестным, одиноким, каким было предназначено мне быть, я творил бы только добро, потому что в сердце моем нет семян никакой злой страсти. Если б я был невидим и всемогущ, как бог, я был бы благодетелен и добр, как он. Сила и свобода — вот что делает человека прекрасным. Слабость и рабство никогда не создавали никого, кроме злых. Если б я владел кольцом Гигеса*, оно сделало бы меня независимым от людей и поставило бы их в зависимость от меня. Часто я спрашивал себя, строя свои воздушные замки, какое употребление сделал бы я из этого кольца,— потому что именно в положении могущества должен расти и соблазн зла. Будучи властен удовлетворять свои желанья, обладая всемогуществом, не опасаясь быть обманутым кем бы то ни было, чего мог бы я пожелать? Только одного: видеть, что все сердца довольны. Зрелище всеобщего довольства одно могло бы заронить в мое сердце постоянное чувство радости, а пламенное желание этому содействовать было бы моей неизменной страстью. Всегда справедливый без предубеждения и добрый без слабости, я в равной мере оградил бы себя и от слепой подозрительности, и от неумолимой ненависти людей; видя их такими,

каковы они есть, и без труда читая в их сердцах, я нашел бы среди них мало таких, которые были бы достаточно привлекательными, чтоб заслужить всю мою привязанность, и таких, которые были бы достаточно отталкивающими, чтоб заслужить всю мою ненависть; но даже злоба их вызывала бы во мне жалость к ним, из-за твердой уверенности, что они сами себе причиняют зло, желая причинить его ближнему. Может быть, и веселые минуты у меня и являлось бы ребяческое желание сотворить иной раз какое-нибудь чудо, но, будучи совершенно ни в чем не заинтересован для себя лично и не имея другого закона, кроме своих природных склонностей, я против нескольких актов сурового правосудия совершал бы тысячу актов милосердия и справедливости. Слуга провидения и полновластный исполнитель его законом, я совершал бы чудеса, более мудрые и более полезные, чем чудеса «Золотой легенды» * и могилы святого Медара.

Есть только один пункт, где способность всюду проникать невидимкой побудила бы меня искать соблазнов, которым мне было бы трудно противостоять; и раз вступив на этот неправый путь, куда бы я по нему ни зашел? Я обнаружил бы дурное знание природы и самого себя, если б вздумал обольщаться мыслью, что эти возможности меня не соблазнили бы или что разум удержал бы меня от этого рокового падения. Уверенный в себе во всех других отношениях, я погиб бы только из-за этого. Тот, кого могущество ставит выше людей, должен быть выше человеческих слабостей, иначе этот избыток силы поставит его на самом деле ниже других и ниже того, чем сам он был бы в том случае, если б остался им равным.

Взвесив все, я, кажется, лучше сделаю, если брошу свое волшебное кольцо, прежде чем оно заставит меня совершить какую-нибудь глупость. Если люди упорно считают меня иным, чем я есть, и мой вид разжигает их страсть к несправедливости, то надо от них бежать, а не исчезать в их гуще. Это им нужно таиться передо мной, скрывать от меня свои происки, избегать дневного света, зарываться в землю, как кроты. Что до меня, то пусть они видят меня, если могут,— тем лучше, но это для них невозможно: они всегда будут видеть вместо меня только того Жан-Жака, которого они сами создали по своей мерке, чтобы вдоволь его ненавидеть. Поэтому

я был бы неправ, огорчаясь из-за того, как они смотрят на меня: мне не следует уделять этому никакого внимания, ибо не меня видит их взгляд.

Вывод, который я могу сделать из всех этих размышлений, сводится к тому, что я никогда не был по-настоящему пригоден к жизни в гражданском обществе, где сплошь одно принуждение, обязанность, долг, и что мой независимый нрав делал меня неспособным к подчинению, которое необходимо тому, кто хочет жить с людьми. Пока я действую свободно, я добр и делаю только добро, но как только я чувствую иго — будь то иго необходимости или иго людей,— я становлюсь мятежным или, скорее, строптивым, и тогда я — ничто. Когда я вынужден действовать вопреки своему желанию, я не действую вовсе, что бы ни случилось; я не действую и по своему желанию, потому что я слаб. Я воздерживаюсь от действий, потому что вся моя слабость относится к действию, вся моя сила — отрицательная и все мои грехи — в упущении и редко в совершении. Я никогда не думал, будто свобода человека состоит в том, чтобы делать, что хочешь: она в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь; и вот этой-то свободы я всегда и требовал, нередко достигал ее и ею больше всего вводил в соблазн своих современников. Ведь что касается их, деятельных, подвижных, тщеславных,— они ненавидят свободу в других и не желают ее для самих себя, лишь бы им иногда можно было поступать по своей воле или, верней, подавлять волю другого; они всю жизнь принуждают себя делать то, к чему испытывают отвращение, и не упускают совершить ни одного рабского поступка, чтобы повелевать. Таким образом, их вина не в том, что они удалили меня из общества как бесполезного его члена, а в том, что изгнали меня оттуда как члена вредного. Я сделал очень мало добра, сознаюсь в этом; но что касается зла, то у меня в жизни не зарождалось желания делать его, и я сомневаюсь, чтобы был другой человек на свете, который на самом деле сделал бы меньше зла, чем я.

ПРОГУЛКА СЕДЬМАЯ

Описание моих долгих мечтаний едва началось, а я уже чувствую, что оно подходит к концу. Другое

развлечение идет ему на смену, поглощает его и не дает мне времени для мечтаний. Я предаюсь ему с увлечением, доходящим до сумасбродства и вызывающим смех у меня самого, когда я думаю об этом; но я все же предаюсь ему, потому что и теперь у меня нет другого правила поведения, кроме как непринужденно следовать во всем своим прихотям. Я ничего не могу изменить в своей судьбе, склонности у меня только невинные, и так как отныне все людские мнения для меня ничто, сама мудрость требует, чтобы в том, что остается для меня достигаемым, я делал все, что мне нравится, будь то на людях или наедине с собой, руководясь только своей фантазией и без другого мерил, кроме оставшегося у меня малого запаса сил. И вот я остаюсь при своем сене вместо всякой пищи: с ботаникой в качестве единственного занятия. Уже стариком я впервые заинтересовался ею в Швейцарии, по примеру доктора д'Ивернуа, и во время своих путешествий довольно удачно ботанизировал, чтобы набраться некоторых знаний о растительном царстве. Но, перевалив за шестьдесят и осев в Париже, я почувствовал, что у меня не хватает сил для больших работ и области ботаники, и, будучи к тому же в достаточной мере увлеченным перепиской нот, чтобы не нуждаться и других занятиях, я оставил это развлечение, переставшее быть мне необходимым; я отдал свой гербарий, продал книги и довольствовался тем, что изредка рассматривал обычные растения, которые видел во время своих прогулок по окрестностям Парижа. В этот промежуток времени то немногое, что я знал, почти совершенно исчезло у меня из памяти,— и притом гораздо быстрее, чем запечатлелось там.

Вдруг, на шестьдесят шестом году, лишившись и той слабой памяти, которую имел, и сил, еще остававшихся у меня для блужданий по окрестностям, не имея ни руководителя, ни книг, ни сада, ни гербария, я снова оказался охваченным этим безумством, но с еще большей горячностью, чем когда отдался ему впервые. Вот уже я серьезно занят мудрым решением выучить наизусть все «*Regnum vegetabile*» [Растительное царство (*лат.*).] Меррея и познакомиться со всеми известными на земле растениями. Не имея возможности покупать книги по ботанике, я поставил себе в обязанность переписывать те, которые были мне одолжены, и решил составить новый гербарий, богаче прежнего,

— в ожидании того времени, когда мне удастся включить в него все растения моря и Альп и все деревья Индии. Начинаю я опять скромно с курслепа, кербеля, бурачника, крестовой травки; сортирую собранные растения над клеткой с моими птицами и по поводу каждой найденной травинки удовлетворенно говорю себе: «Вот еще одним растением больше!»

Я не собираюсь оправдывать свое решение отдаться этой прихоти; я нахожу его очень разумным, будучи убежден, что в моем положении предаваться приятным мне забавам — большая мудрость и даже большая добродетель: это способ не дать прорасти в сердце семенам мщения и ненависти; и для того чтобы в моей судьбе находить интерес к какой бы то ни было забаве, надо, конечно, иметь нрав, совершенно свободный от всяких гневных страстей. Это моя месть преследователям — на мой собственный лад; я не мог наказать их более жестоко, иначе как став счастливым вопреки им.

Да, без сомненья, разум позволяет, даже предписывает мне отдаваться всем влекущим меня склонностям, которым ничто не мешает мне следовать, но он не объясняет мне, почему именно эта склонность влечет меня и какую радость могу я находить в пустом занятии, не связанном ни с выгодой, ни с успехом, которое возвращает меня, старого, болтливое, уже дряхлого и отяжелевшего, утратившего подвижности и память,— к упражнениям юности и урокам школьника. Вот странность, которую я хотел бы понять; мне кажется, что, отчетливо выясненная, она могла бы внести еще немного света в то познание самого себя, приобретению которого я посвятил свои последние досуги.

Мне случалось мыслить довольно глубоко, но редко — с наслаждением; почти всегда мысли овладевали мною против моего желанья, как бы насильно. Мечтанье дает мне отдых и забаву, — размышленье утомляет и печалит; мыслить было для меня всегда занятием тягостным и лишенным обаянья. Иногда мечтанье мое кончается размышленьем, но чаще мои размышленья кончаются мечтаньем, и в этом забвении душа моя блуждает и парит в мироздании на крыльях воображения — в восторгах, превосходящих все иные утехы.

Пока я наслаждался этой утехой во всей ее цельности, всякое другое занятие было мне постыло. Но когда однажды, вытолкнутый чужим влиянием на литературную дорогу, я познал утомительность умственного труда и тягость несчастливой известности, я в то же время почувствовал, что милые сердцу мечтанья блекнут и стынут; и вскоре, вынужденный поневоле заняться своим печальным положением, уже только очень редко мог воскрешать эти дорогие восторги, в течение пятидесяти лет заменявшие мне богатство, славу и без каких-либо затрат, кроме времени, делавшие меня в моем бездействии счастливейшим из смертных.

Мне даже приходилось опасаться среди своих мечтаний, как бы мое напуганное несчастьями воображение не обратило в конце концов свою деятельность в эту сторону и постоянное ощущение моих страданий, постепенно сжимая мне сердце, не подавило бы меня наконец их тяжестью. В этом состоянии некий врожденный инстинкт, заставляя меня избегать всякой грустной мысли, наложил печать молчанья на мое воображение и, направив мое вниманье на окружающие предметы, побудил меня впервые всмотреться в то зрелище, которое дарил мне природа и которое я до тех пор созерцал только в целом, не различая подробностей.

Деревья, кустарники, травы — украшение и одежда земли. Нет ничего печальней, как вид местности голой и лишенной растительности, не открывающей взгляду ничего, кроме камней, ила и песков. Но оживленная природой и одетая в брачные одежды, среди водных источников и пенья птиц, земля являет человеку в гармоническом сочетании трех своих царств зрелище, полное жизни, занимательности и обаянья,— единственное на свете, которое никогда не утомляет ни глаз, ни сердца.

Чем чувствительней душа у созерцающего, тем более предается он восторгу, вызываемому в нем этой гармонией. Нежное и глубокое мечтанье овладевает тогда его чувствами, и в сладком опьянении он теряется в безмерности этой прекрасной системы, с которой чувствует себя слитым. Все отдельные предметы ускользают тогда от него; он видит и чувствует все во всем. Надо, чтобы какое-нибудь особое обстоятельство стеснило его мысли и ограничило воображенье, для того чтоб

он мог наблюдать по частям мироздание, которое силился объять душой.

Именно это, естественно, и случилось со мною, когда, сжавшись от отчаянья, сердце мое стягивало и сосредоточивало все свои движенья вокруг себя самого, чтобы сохранить остаток тепла, готовый улетучиться и погаснуть в том изнеможении, в какое я постепенно впадал. Я лениво блуждал по лесам и горам, не смея мыслить из боязни разжечь свои страдания. Воображение, уклоняясь от предметов мучительных, позволяло чувствам отдаваться легким, но милым впечатленьям от окружающих предметов. Взгляд беспрестанно переходил с одного из них на другой, и, конечно, среди столь великого разнообразия находились такие, которые сильнее его привлекали и дольше задерживали.

Я пристрастился к этому развлеченью, отрадному для глаз, которое доставляет несчастному отдых, забаву, рассеянье ума и позволяет ему не чувствовать своих горестей. Характер предметов много способствует этому и все делает соблазнительной приманкой. Сладкие запахи, яркие краски, самые изящные формы словно наперерыв оспаривают друг у друга право приковать к себе наше внимание. Нужно только любить наслаждение, чтобы отдаваться столь приятным ощущениям; и если впечатление это воспринимается не всеми, на кого воздействует, то у иных это происходит из-за отсутствия природной чувствительности, а у большинства потому, что ум их, слишком занятый другими мыслями, лишь украдкой отдается предметам, поражающим их чувства.

Еще одно обстоятельство является причиной того, что внимание людей, обладающих вкусом, проходит мимо растительного царства: это привычка искать в растениях только лекарств и лечебных средств. Теофраст* подходил к делу иначе, и этого философа можно считать единственным ботаником древности; правда, он у нас почти совершенно неизвестен; но по вине великого составителя рецептов, некоего Диоскорида*, и его

комментаторов медицина до такой степени завладела растениями, превращаемыми в сырье для аптекарских снадобий, что в них видят только то, чего в них не видно,— то есть предполагаемые качества, которые каждому встречному и поперечному вздумается им приписать. Не понимают

того, что мир растений может заслуживать некоторого внимания сам по себе. Люди, проводящие жизнь в коллекционировании раковин, смеются над ботаникой, как над занятием бесполезным, если к нему не добавлено изучения так называемых свойств растений,— то есть если в нем не отброшены наблюдения над природой, которая не лжет и которая не говорит нам ничего об этом, и доверие не отдано исключительно авторитету людей, которые лгут и утверждают много такого, в чем приходится верить им на слово, хотя сами они чаще всего тоже основываются на чужом авторитете. Остановитесь на пестром лугу и начните рассматривать один за другим цветы, которыми он усеян; увидев это, вас примут за лекарского помощника и станут просить у вас трав от лишаев у детей, от чесотки у взрослых или от сапа у лошадей.

Этот отвратительный предрассудок отчасти уничтожен в других странах, особенно в Англии, благодаря Линнею, который отчасти вытасил ботанику из школ для фармацевтов, чтобы передать ее естествознанию и хозяйственным потребностям. Но во Франции, где занятия ботаникой не так сильно распространились среди светских людей, в этой области по-прежнему царит такое невежество, что один парижский умник, увидев в Лондоне ботанический сад, полный деревьев и редких растений, вместо всяких похвал воскликнул: «Вот славный огород лекарственных трав!» С этой точки зрения первым лекарем был Адам; потому что трудно представить себе сад, где было бы представлено больше разнообразных растений, чем в Эдеме.

Этот лекарственный образ мыслей, конечно, не может сделать изучение ботаники приятным; он обесцвечивает пестроту лугов, яркость цветов, иссушает свежесть рощ, делает зелень и листву постылыми и отвратительными. Эти изящные и очаровательные сочетания очень мало интересуют того, кто хочет только истолочь все это в ступе, и никто не станет плести гирлянд пастушкам из трав для промывательного.

Аптечное хозяйство не оскверняло моих сельских образов; ничто не было от них дальше, чем настойки и пластыри. Часто я думал, рассматривая вблизи поля, плодовые сады, леса и их многочисленных обитателей, что растительное царство представляет

собой склад пищи, которую природа предназначила человеку и животным. Но никогда не приходило

мне в голову искать в нем лекарств и врачебных средств. Я не вижу во всех этих разнообразных произведениях природы ничего, что говорило бы мне о подобном употреблении, а она подсказала бы нам, как надо делать этот отбор, если бы предписывала его нам, подобно тому как сделала это относительно съедобных растений. Я даже чувствую, что удовольствие бродить по рощам было бы для меня отравлено представлением о человеческих немощах, если бы только оставляло место для мыслей о лихорадке, камнях в печени, подагре и старческом одряхлении. Впрочем, я не стану оспаривать у растений великих качеств, им приписываемых; скажу только, что если считать эти качества реальными, то со стороны больных — чистое коварство продолжать болеть; потому что среди стольких болезней, на которые ссылаются люди, нет ни одной, которая не излечивалась бы полностью травами двадцати сортов.

Это направление ума, измеряющее все нашими материальными интересами, всюду ищущее выгоды или лекарства и готовое на всю природу смотреть безразлично, только бы самому быть здоровым, никогда не было мне близко. Я чувствую себя в этом отношении совсем противоположным другим людям: все связанное с ощущением нужды омрачает и портит мое восприятие, и я никогда не находил подлинного очарования в умственных наслаждениях, если совершенно не упускал из виду интересы своего тела. Так, если бы я даже верил в медицину и если бы даже лекарства ее были приятны, я никогда не нашел бы в занятиях ею наслаждений, вызываемых чистым и бескорыстным созерцанием, и душа моя не могла бы доходить до восторга и парить над природой, пока я чувствовал бы, что ее удерживают связи с моим телом. Впрочем, никогда не испытывая большого доверия к медицине, я очень доверял тем врачам, которых уважал и любил, и им я предоставлял распоряжаться моим остовом по их усмотрению. Пятнадцатилетний горький опыт научил меня подчиняться только законам природы, и благодаря этому я теперь вернул себе здоровье. Если бы даже врачи не имели ко мне других претензий, кто удивится их ненависти? Я — живое

доказательство тщетности их искусства и бесполезности их забот.

Нет, ничто личное, ничто связанное с интересами моего тела не может действительно занять мою душу. Никогда я не размышляю, не мечтаю восхитительней, чем когда забываю самого себя. Я испытываю неизъяснимые восторги, взлёты, растворяясь, так сказать, в системе живых существ, отождествляясь со всей природой. До тех пор пока люди были мне братья, я строил планы земного благополучия; так как планы эти всегда относились ко всем, я не мог быть счастлив иначе, как благополучием общим, и мысль об обособленном счастье закралась в мое сердце, только когда я увидел, что мои братья хотят построить свое счастье на моей беде. Тогда мне поневоле пришлось от них бежать, чтобы не возненавидеть их, и в объятьях матери-природы искать защиты от обид, наносимых мне се детьми; я стал отшельником, или, как они выражаются, нелюдимым человеконенавистником, потому что самая дикая пустыня для меня милее общества злых, которое питается ненавистью и предательствами.

Вынужденный воздерживаться от размышлений, чтобы не думать поневоле о своих несчастьях; вынужденный сдерживать остатки радостного, но слабеющего воображения, которое такое множество печалей могло бы совсем запугать; вынужденный стараться забыть людей, позорящих и оскорбляющих меня,— из боязни, как бы негодование не ожесточило меня наконец против них,— я все же не могу окончательно сосредоточиться в себе самом, потому что моя общительная душа стремится, невзирая ни на что, распространять свои чувства и свое бытие на другие существа. Но я уже не могу, как когда-то, стремглав кидаться в безмерный океан природы, потому что мои ослабевшие и упавшие силы уже не находят достаточно определенных, достаточно прочных и достаточно доступных мне предметов, чтобы очень к ним привязаться; и я уже не чувствую в себе достаточно сил, чтобы плавать в хаосе прежних своих восторгов. Мысли мои теперь стали почти одними только ощущениями, и область моего понимания не выходит за пределы тех предметов, которыми я непосредственно окружен.

Избегая людей, ища одиночества, перестав давать волю воображенью, еще меньше мысля и

будучи меж тем одарен живым темпераментом, удаляющим меня от томительной и грустной апатии, я направил свое внимание на то, что меня окружает, и, благодаря вполне естественному инстинкту, отдал предпочтенье наиболее приятным предметам. Царство минералов само по себе не имеет ничего приятного и притягательного; богатства, таящиеся в недрах земли, словно удалены от взглядов для того, чтобы не искушать жадности: они там как бы отложены про запас, чтобы в дальнейшем послужить заменой настоящим богатствам, доступным человеку, но к которым он теряет вкус, по мере того как развращается. Тогда ему приходится призвать среди своих бед на помощь индустрию, подневольный труд и работу; он роет недра земли, рискуя жизнью и здоровьем, он стремится найти в центре ее воображаемые блага, вместо благ действительных, которые она сама предоставляла ему, когда он умел ими пользоваться. Он бежит от солнца и дня, которых больше недостоин видеть; он погребает себя заживо — и правильно поступает, так как не заслуживает того, чтоб жить при свете дня. Там каменоломни, кузницы, печи, целый набор наковален, молотом, дым и огонь приходят на смену милым образам полевых работ. Плодный лица несчастных, томящихся среди вредоносных паров в копиях, черные кузнецы, безобразные циклопы — нот зрелище, которое мир копей в недрах земли ставит па место зелени и цветов, лазурного неба, влюбленных пастухов и могучих земледельцев на се поверхности.

Нетрудно — я признаю это — разгуливать, подбирая носок и камни, набивать ими карманы и свой кабинет и при этом корчить из себя натуралиста; но все, кто увлекается и ограничивается такого рода коллекционированьем, оказываются обычно страшными невеждами, ищущими во всем этом только удовольствия порисоваться. Чтоб извлекать пользу из изучения минералов, надо быть химиком и физиком; надо делать трудные и дорогие опыты, работать в лабораториях, тратить много денег и проводить много времени среди угля, тиглей, печей, реторт и удушливых испарений, вечно рискуя жизнью и нередко причиняя ущерб своему здоровью. В результате всего этого печального и утомительного труда обычно получается гораздо меньше знания, чем гордости, и где тот скромный химик, который не

считал бы, что он проник во все процессы природы, потому что открыл — может быть, случайно — несколько незначительных приемов своего искусства.

Царство животных для нас доступней и, конечно, еще больше заслуживает изучения; но в конце концов разве изучение это не имеет тоже своих трудностей, неудобств, отталкивающих сторон и огорчений? Особенно для отшельника, который ни в забавах, ни в трудах не может рассчитывать ни на чью поддержку. Как наблюдать, вскрывать, изучать, познавать птиц в воздухе, рыб в воде, четвероногих, которые быстрее ветра, сильнее человека и не более склонны прийти и подвергнуться моим изысканиям, чем я — бегать за ними, чтобы принудить их к этому силой? Но тогда моим материалом будут только улитки, черви, мухи, и я буду проводить жизнь, задыхаясь в погоне за бабочками, протыкая булавками бедных насекомых, вскрывая мышей, когда мне удастся их поймать, либо пададь, которую случайно найду. Изучение животных — ничто без анатомии; через нее-то мы научаемся их классифицировать, различать их роды и виды. Чтобы изучать их со стороны их нравов, их характера, надо иметь вольеры, садки, зверинец; надо тем или иным способом заставить их быть возле меня. У меня нет ни желаний, ни средств держать их в неволе и нет необходимого проворства, чтобы следовать за ними в их скитаниях, когда они на свободе. Значит, пришлось бы изучать их мертвых, расчленять их, вырезать из них кости, долго копать в их трепещущих внутренностях. Какое страшное учреждение — анатомический театр, со зловонными трупами, осклизлой и мертвенно-бледной плотью, кровью, отвратительными кишками, ужасными скелетами, тлетворными испарениями! Честное слово, не там станет Жан-Жак искать себе развлечений.

Яркие цветы, пестрота лугов, свежая тень, ручьи, рощи, зелень, придите очистить мое воображение, загрязненное всеми этими безобразными предметами. Душу мою, умершую для всякого великого переживания, может тронуть лишь то, что обращено к чувствам; у меня нет больше ничего, кроме ощущений, и только через них огорчение или удовольствие могут повлиять на меня. Привлекаемый окружающими меня светлыми

предметами, я рассматриваю их, созерцаю, сравниваю, научаюсь, наконец, классифицировать их, — и вот уже я ботаник, насколько это нужно человеку, изучающему природу только для того, чтоб находить все новые поводы любить ее.

Я не стремлюсь приобрести образование — слишком поздно; к тому же я никогда не видел, чтобы большое количество знаний содействовало жизненному счастью; но я стремлюсь к тому, чтобы доставить себе скромные и простые развлечения, которыми я мог бы наслаждаться без труда и которые отвлекали бы меня от моих несчастий. Мне не нужно ни производить расходов, ни трудиться, для того чтобы лениво бродить от травинки к травинке, от растения к растению, рассматривая их, сравнивая разные их особенности, отмечая их сходства и различия; наконец, наблюдая устройство растений так, чтобы следить за ходом и действием этих живых машин, отыскивать порой с успехом их общие законы, основание и цель в различии их строения и предаваться очарованию благодарного восхищения перед рукой, позволяющей мне наслаждаться всем этим.

Растения были в изобилии посеяны на земле, как звезды в небе, словно для того, чтобы увлечь человека приманкой удовольствия и любопытства на путь изучения природы. Но светила находятся далеко от нас; нужны предварительные знания, инструменты, высокие сооружения — длинные лестницы, чтобы взбираться на них и приближать к нам звезды. А растения разбросаны возле нас самой природой. Они рождаются у наших ног и, так сказать, у нас в руках; и если малые размеры главных их частей скрывают их иной раз от невооруженного глаза, то инструменты, которые делают их доступными ему, гораздо менее сложны, чем астрономические. Ботаника — наука бездеятельного и ленивого отшельника; игла да луна — вот и весь аппарат, в котором он нуждается, чтобы изучать их. Он прогуливается, свободно блуждает от одного растения к другому, с интересом и любопытством рассматривает каждый цветок со всех сторон, и как только начинает улавливать законы их устройства, без всякого труда получает от их созерцания такое же сильное наслаждение, как если б ему пришлось дорого за него заплатить. Есть в этом бесцельном занятии какое-то очарование; его

можно почувствовать только при полном молчании страстей, и тогда ого одного достаточно, чтобы сделать жизнь счастливой и приятной. Но как только к этому примешивается корыстный интерес или тщеславие — идет ли речь о занятии должностей или писании книг,— когда хотят познавать только для того, чтобы становиться ученым, когда начинают заниматься ботаникой только затем, чтоб быть автором или профессором,— все это тихое очарование исчезает, в растениях начинают видеть одни орудия своих страстей, уже не находят никакого истинного наслаждения в изучении природы, хотят уже не знать, а показывать свои знания, и в лесу уже чувствуют себя только как на светской сцене, думая лишь о том, как бы вызвать там удивление; либо ограничиваются кабинетной или, самое большее, садовой ботаникой и, вместо того чтоб наблюдать растения в природе, занимаются одними системами да методами,— вечный предмет спора, не способного ни обнаружить хоть одно новое растение, ни по-настоящему осветить естествознание и растительное царство. Отсюда ненависть, зависть, которую погоня за славой возбуждает среди писателей-ботаников так же, и еще больше, чем среди других ученых. Извращая это милое занятие, они переносят его в города и академии, где оно вырождается, подобно тропическим растениям в ботанических садах.

Совсем другие умонастроения сделали для меня это занятие своего рода страстью, заполнившей пустоту, оставшуюся от всех страстей, мной утраченных. Я поднимаюсь на скалы, на горы, углубляюсь в долины, в леса, чтоб, насколько возможно, исчезнуть из памяти людей и скрыться от угроз ненавистников. Мне кажется, что под сенью какого-нибудь леса я забыт, свободен и спокоен, словно у меня больше нет врагов или древесная листва должна защитить меня от их посягательств, подобно тому как она устраняет их из моей памяти,— и я имею глупость воображать, что если я не буду думать о них, то и они перестанут думать обо мне. Я нахожу столько отрады в этом самообмане, что предался бы ему безраздельно, если б мое положение, моя слабость и мои нужды позволили мне это. Чем глубже уединение, в котором я тогда живу, тем необходимей, чтобы какой-нибудь предмет заполнил пустоту его, и те предметы, в которых мне отказывает воображение или которые отвергает моя

память, заменяются вольными порождениями земли, не знавшей насилия со стороны человека: она повсюду открывает их моему взгляду. Наслаждение отправиться в пустынную местность на поиски новых растений служит прикрытием наслаждению ускользнуть от своих гонителей, и, забравшись туда, где я не вижу ни малейших следов человека, я легче дышу, как в надежном пристанище, где людская ненависть уже не преследует меня.

Всю жизнь я буду помнить ботаническую экскурсию, совершенную мною однажды по направлению к горе Робела в судебном округе г-на Клер. Я был один, углубился в извилины горы и, переходя из леса в лес, от утеса к утесу, дошел до такого укрытого уголка, что в жизни мне не приходилось видеть зрелища более дикого. Черные ели попеременно с исполинскими буками, из которых многие повалились от старости, переплелись ветвями и ограждали этот приют непроницаемым препятствием; несколько просветов в этой мрачной ограде открывали снаружи только обрывистые скалы да страшные пропасти, куда я не осмеливался заглянуть иначе, как лежа на животе. Филин, сова и орлан издавали крики в горных расщелинах, и лишь какие-то немногочисленные, но смелые птички умеряли мрачность этого глухого угла; там я нашел зубчатый *Heptaphyllos*, цикламен, *Nidus avis*, большой *Laserpitium* и некоторые другие растения, долго очаровывавшие и занимавшие меня; незаметно покоренный сильным впечатлением от предметов, я забыл о ботанике и растениях, сел на подушки из *Lusorodi* и мхов и принялся мечтать свободней при мысли, что нахожусь в убежище, не известном никому на свете и где преследователи не разыщут меня. Скоро гордое чувство примешалось к этим грезам. Я сравнивал себя с великими путешественниками, открывающими необитаемый остров, и самодовольно говорил себе: «Конечно, я первый из смертных проник сюда»; я смотрел на себя, почти как на второго Колумба. Пока я тешил свое самолюбие этой мыслью, я услышал неподалеку какое-то пощелкиванье, показавшееся мне знакомым. Прислушиваюсь: тот же звук повторяется и усиливается; удивленный и заинтересованный, я встаю, пробираюсь сквозь чащу кустарников в ту сторону, откуда идет шум, и в ложбине, в двадцати шагах от того самого места, где я воображал себя

первым посетителем, обнаруживаю чулочную мануфактуру.

Не могу описать смутных и противоречивых чувств, охвативших мое сердце при этом открытии. Первым движением души было чувство радости оттого, что я снова среди людей, в то самое время как считал себя в полном одиночестве. Но ощущение это, мелькнувшее быстрее молнии, скоро уступило место более устойчивому мучительному чувству человека, который не в состоянии даже в альпийских пещерах избежать жестоких рук людей, озлобленно жаждущих терзать его,— потому что я был вполне уверен, что на этой фабрике нет, пожалуй, и двух человек, которые не были бы вовлечены в заговор, возглавлявшийся священником Монмоленом, вербовавшим своих агентов в самых отдаленных местах. Я поспешил прогнать эту печальную мысль и под конец стал смеяться над собой, над своим детским тщеславием и над тем, как я был смешно наказан.

Но в конце концов кто мог бы думать, что найдет мануфактуру в пропасти? На всем свете одна только Швейцария отличается таким смешением дикой природы и человеческой индустрии. Вся Швейцария, если можно так выразиться,— только большой город, улицы которого, более широкие и длинные, чем улицы Сент-Антуана, усеяны лесами и пересечены горами, а дома, разбросанные и редкие, сообщаются между собой только английскими садами*. Я вспомнил в связи с этим еще одну ботаническую экскурсию, которую за несколько времени до того дю Пейру, Дешерни, полковник Пюри, судья Клер и я совершили на гору Шассерон, с вершины которой открывается вид па семь озер. Нам сказали, что на этой горе только один дом, и мы, конечно, не догадались бы, какова профессия того, кто в нем жил, если б к этому не добавили, что хозяин-книготорговец, у которого хорошо идут дела в стране. Мне кажется, один факт такого рода лучше знакомит с Швейцарией, чем все описания путешественников.

Вот еще один факт того же, или почти того же характера, позволяющий не хуже узнать парод, совсем не похожий на швейцарцев. Во время моего пребывания в Гренобле я часто совершал маленькие ботанические экскурсии за город с г-ном Бовье, местным адвокатом,— не потому, что он любил

ботанику, а потому что, сделавшись моим телохранителем, он поставил себе за правило, насколько это было возможно, не отходить от меня ни на шаг. Однажды мы гуляли с ним по берегу Изера, в месте, полном колючего боярышника. Я увидел на этих кустах спелые ягоды; мне захотелось попробовать их из любопытства; найдя, что у них кисловатый и очень приятный вкус, я принялся есть эти ягоды, чтобы освежиться; г-н Бовье оставался все время возле меня, не следуя моему примеру и ничего не говоря. Подошел один из его друзей и, увидев, что я поклевываю ягоды, сказал мне: «Ах, сударь! Что вы делаете? Неужели вы не знаете, что эти ягоды ядовиты?» — «Ядовиты?!» — воскликнул я в изумлении. «Конечно,— продолжал он,— и всем это настолько известно, что никто в наших краях не станет их есть». Я взглянул на г-на Бовье и спросил: «Что же вы меня не предупредили?» — «Ах, сударь,— ответил он мне почтительно,— я не решился на такую вольность». Я засмеялся над этим удивительным дофинуазским смиреньем*, прервав, однако, свой маленький завтрак. Я был и остаюсь убежден, что всякое произведение природы, приятное на вкус, не может быть вредно или во всяком случае вредит только при излишестве. Однако, признаюсь, весь тот день я слегка прислушивался к себе; но я отделался небольшим беспокойством; я очень хорошо поужинал, выспался еще лучше и утром встал совершенно здоровым, хотя проглотил накануне пятнадцать или двадцать ягод страшного боярышника, ядовитого в очень малых дозах, если верить тому, что говорили на другой день все в Гренобле. Этот случай показался мне таким забавным, что я не могу вспомнить о нем без того, чтоб не посмеяться над странной скромностью г-на адвоката Бовье.

Все мои ботанические походы, разнообразные впечатления от поразивших меня в том или ином месте предметов, мысли, ими порожденные, случаи, которые при этом бывали,— все это оставило во мне воспоминания, которые пробуждаются при виде растений, собранных в тех местах. Я уже больше не увижу этих прекрасных пейзажей, этих лесов, озер, рощ, этих скал и гор, вид которых всегда трогал мое сердце; но теперь, когда я не могу больше бродить по тем счастливым местам, мне стоит только открыть свой гербарий, и вот я уже перенесен туда. Части растений, мной там сорванных, служат мне

достаточным напоминанием обо всем этом великолепном зрелище. Для меня мой гербарий — дневник ботанических занятий, заставляющий меня повторять их с новым очарованием; он оказывает на меня такое действие, будто волшебный фонарь снова рисует их перед моими глазами.

Вот цепь дополнительных мыслей, привязывающих меня к ботанике. Она объединяет и воскрешает в моем воображении образы, наиболее ему приятные: благодаря ей память беспрестанно рисует мне луга, воды, леса, одиночество, в особенности мир и покой, который я всегда находил среди всего этого. Она заставляет меня забывать преследования со стороны людей, их ненависть, их презренье, их обиды и все страдания, которыми они отплатили мне за нежную и искреннюю привязанность к ним. Она переносит меня в тихие края, в среду людей простых и добрых, как те, с которыми я жил когда-то. Она напоминает мне и мою юность, и мои невинные удовольствия; она дает мне снова наслаждаться ими и еще довольно часто делает меня счастливым в самой печальной судьбе, какой когда-либо подвергался смертный.

ПРОГУЛКА ВОСЬМАЯ

Размышляя о состояниях души моей при всех обстоятельствах моей жизни, я бываю крайне поражен, видя так мало соответствия между разными поворотами моей судьбы и вызываемыми ими во мне обычными чувствами благополучия или угнетения. Краткие промежутки благоденствия не оставили мне почти никакого приятного воспоминания о внутреннем и постоянном его влиянии на меня; и наоборот, во всех несчастьях своей жизни я ощущал, что постоянно полон чувств нежных, трогательных, отрадных, которые как бы изливали на раны моего истерзанного сердца целительный бальзам, превращая его боль в наслажденье, и у меня осталось о них только милое воспоминанье, свободное от всего горького, испытанного мною в то время. Мне кажется, что я больше наслаждался прелестью существования и в самом деле больше жил, когда чувства мои, так сказать стесненные вокруг моего сердца моей участью, не стремились ко всему тому, что так ценят

люди, но что само по себе очень мало заслуживает уважения, хотя и составляет единственную заботу тех, кого почитают счастливыми.

Когда все вокруг меня было в порядке, когда я был доволен всем окружающим и средой, в которой мне приходилось жить, я наполнял ее своей любовью. Моя общительная душа охватывала другие предметы. И, постоянно увлекаемый далеко от себя бесчисленными интересами, милыми привязанностями, беспрестанно занимавшими мое сердце, я как-то забывал о себе самим, принадлежал целиком постороннему и в непрерывной сердечной тревоге узнавал все непостоянство человеческих дел. Эта бурная жизнь не давала мне ни внутреннего мира, ни внешнего покоя. Счастливый по видимости, я не знал ни одного чувства, способного выдержать испытание мысли и доставить мне настоящее наслаждение. Никогда я не был вполне доволен ни другими, ни собой. Людская сутолока оглушала меня, одиночество мне надоедало; я испытывал потребность в беспрестанной перемене мест и нигде не чувствовал себя хорошо. Между тем всюду я был чествуем, желанен, хорошо принят, обласкан; у меня не было ни одного врага, ни одного недоброжелателя, ни одного завистника. Так как все старались услужить мне, нередко и сам я имел удовольствие услужить многим; и, не имея ни достатка, ни службы, ни покровителя, ни больших талантов, как следует развитых и признанных, я пользовался преимуществами, со всем этим связанными, и не видел ни одного человека в каком бы то ни было общественном слое, судьба которого казалась бы мне лучше моей. Чего же не хватало мне, чтобы быть счастливым? Не знаю; знаю только, что я не был счастлив. Чего не хватает мне теперь, чтобы быть самым несчастным из смертных? Ничего из того, что люди могли внести от себя для достижения этого. И вот в таком плачевном положении я все-таки не поменялся бы своим существом и судьбой со счастливейшим из них и все-таки предпочитаю оставаться в своем несчастье самим собой, чем стать кем-нибудь из этих людей, наслаждающихся своим благополучием. Предоставленный самому себе, я живу, правда, своим собственным внутренним существом; и хотя мне достаточно самого себя, я пережевываю, так сказать, впустую, воображение мое иссякает, а мои угасшие мысли не дают больше пищи сердцу. Моя ослепленная, подавленная моими

органами душа день ото дня слабеет и под тяжестью этого груза уже не имеет сил вырваться по-прежнему из своей ветхой оболочки.

Бедствия принуждают нас вернуться к себе самому; и, быть может, это-то и делает их более всего невыносимыми для большинства. Но я, который может упрекнуть себя только в ошибках, я обвиняю в них свою слабость и утешаюсь тем, что никогда преднамеренное зло не приближалось к моему сердцу.

Однако — если не быть глупцом — как же мне, хоть на миг взглянув на свое положение, не увидеть, каким ужасным его сделали, и не погибнуть от боли и отчаянья? А я, чувствительнейшее из созданий, не только не погибаю, но смотрю на него без волнения, отказываясь от борьбы и от усилий над собой. Я вижу себя почти с безразличием в положении, зрелище которого никто другой, быть может, не вынес бы без ужаса.

Как я дошел до этого? Ведь я был очень далек от такой душевной безмятежности при первом подозрении о заговоре, которым был уже давно опутан, нисколько этого не замечая. Это новое открытие потрясло меня. Низость и предательство захватили меня врасплох. Какая честная душа бывает готова к такого рода страданию? Предвидит его только тот, кто его заслуживает. Я попадался во все ловушки, расставленные у меня под ногами. Негодование, бешенство, неистовство охватили меня: я потерял представление обо всем. Все смешалось в голове моей, и в страшной тьме, в которой меня непрерывно держали, я уже не различал ни проблеска света, который бы вел меня, ни опоры, ничего, за что бы я мог ухватиться и воспротивиться охватывавшему меня отчаянью.

Как жить счастливым и спокойным в этом ужасном состоянии? Между тем я все еще нахожусь в нем; и даже больше, чем всегда; и я вновь нашел в нем мир и тишину, и живу в нем счастливый и спокойный, и смеюсь над невероятными мученьями, которые мои преследователи сами себе беспрестанно причиняют, тогда как я не знаю тревог, занимаясь цветами, тычинками, предаваясь ребяческим утехам, и даже не думаю об этих людях.

Как случилось это превращенье? Естественно, незаметно и без труда. Первая неожиданность была

ужасни. Я, чувствовавший себя достойным любви и уваженья, я, уверенный, что меня почитают, что мной дорожат, как я того заслуживаю, — вдруг увидел себя превращенным и какое-то страшное, небывалое чудовище. Я вижу, как целое поколение поголовно спешит примкнуть к этому странному взгляду, без объяснений, без колебаний, без стыда и не давая мне возможности узнать причину ото го страшного перепорота. Я стал с ожесточением сопротивляться, и только больше дал себя запутать. Я попробовал заставить моих преследователей объясниться со мной,— они и не подумали. После долгой бесполезной и мучительной борьбы мне надо было перевести дыханье. Но я еще надеялся; я говорил себе: такая глупая слепота, такое нелепое предубеждение не может вызвать сочувствие всего человеческого рода. Есть разумные люди, не разделяющие этого бреда, есть справедливые души, ненавидящие плутни и предателей. Поищем: может быть, я найду наконец человека; если я найду его, они будут посрамлены. Я искал напрасно; я не нашел его. Союз всеобщ, лишен исключений, нерасторжим, и я уверен, что кончу дни свои в этом страшном изгнании, так и не проникнув в его тайну.

В этом-то плачевном состоянии я после долгих терзаний, вместо отчаянья, которое, казалось бы, должно было стать наконец моим уделом, вернулся к ясности, спокойствию, миру, даже счастью, поскольку каждый день моей жизни приятно напоминает прошлый и я не желаю, чтобы завтрашний был иным.

Откуда это различие? Из одного-единственного источника: я научился безропотно носить ярмо необходимости. Прежде я старался еще держаться за тысячи предметов; а после того как все эти зацепки исчезли у меня одна за другой, я, предоставленный самому себе, вернулся наконец в устойчивое положение. Осаждаемый со всех сторон, я не выхожу из равновесия, потому что больше ни к чему не привязан, опираюсь только на самого себя.

Когда я шел с такой горячностью против установившегося мнения, сам того не замечая, я еще носил его иго. Мы хотим, чтоб нас уважали те, кого мы сами уважаем; и до тех пор, пока я мог думать о людях хорошо — по крайней мере о некоторых,— их мнения обо мне не могли мне быть безразличными. Я видел, что часто суждения публики справедливы,

но не видел, что самая эта справедливость есть результат случайности, что правила, на которых люди основывают свои мнения, имеют источником только их страсти или порожденные этими страстями предрассудки; и даже когда они судят правильно, то и тут нередко в своем правильном суждении они исходят из дурного начала, как, например, когда они якобы воздают должное заслуге человека: ведь они делают это не из чувства справедливости, а чтобы произвести впечатление беспристрастности, и по всякому поводу клеветают на этого самого человека.

Но когда после столь продолжительных и тщетных попыток я увидел, что все мои гонители без исключения остались в самом несправедливом и нелепом союзе, какой только мог выдумать дьявольский ум; когда я увидел, что в отношении меня рассудок изгнан из всех умов, а справедливость из всех сердец; когда я увидел, как безумное поколение поголовно присоединяется к слепому бешбнству своих вождей против несчастного, который никогда никому не делал, не желал, не воздавал зла; когда после тщетных поисков человека я был вынужден в конце концов погасить свой фонарь и воскликнуть: «Он больше не существует!» — тогда я обнаружил, что я один на земле, и понял, что современники мои по отношению ко мне — только существа, действующие механически, чьи бессознательные поступки я могу предусматривать только на основе законов движения. Какое бы намеренье, какую бы страсть я ни мог предположить в их душе, это никогда не объяснило бы их поведения в отношении меня сколько-нибудь вразумительно. И вот их внутреннее состояние перестало что бы то ни было для меня значить. Я уже не видел в них ничего, кроме по-разному движущихся масс, лишенных в отношении меня каких бы то ни было нравственных начал.

Во всех постигающих нас бедах мы обращаем больше внимания на намеренье, чем на результат. Упавшая с крыши черепица может причинить нам больше вреда, чем камень, пущенный нарочно злобной рукой, но она не вызовет в нас того сокрушенья. Иногда удар не попадает в цель, но намеренье не может промахнуться. Телесное страданье — это как раз то, что меньше всего чувствуется в ударах судьбы; и когда несчастные не

могут понять, кто виновник их бед, они видят его в судьбе, которую одушевляют, наделяя ее глазами и умом жаждущим их мученья. Так, огорченный проигрышем игрок приходит в ярость, сам не зная против кого. Он рисует себе в воображении рок, сознательно его преследующий, чтобы мучить, и, найдя пищу своему гневу, оживляется и воспламеняется против созданного им самим врага. Человек благоразумный, не видя во всех случающихся с ним несчастьях ничего, кроме ударов слепой необходимости, чужд этих бессмысленных исступлений; он кричит от боли, но не испытывает ни раздражения,

ни гнева; в терзающем его зле он чувствует одно только фактическое несчастье; и пусть наносимые ему удары ранят его личность,— ни один из них не достигает сердца. Дойти до такого состояния — уже не малое дело; но это еще не все, на этом нельзя остановиться; мы уже скосили зло, но еще оставили его корень. Потому что корень этот — не в чуждых нам существах; он в нас самих, и нам нужно поработать, чтобы вырвать его совсем. Вот что я прекрасно понял, как только начал приходить в себя. Так как разум мой обнаруживал предо мной одни только нелепости в тех объяснениях, которые я старался дать всему со мной происходящему, я понял, что, поскольку причины, орудия, средства всего этого мне неизвестны и непостижимы, они должны быть для меня ничто; что я должен смотреть на все превратности моей судьбы, как на простые проявления роковой случайности, в которой не надо искать ни направленности, ни намерения, ни нравственного основания; что надо им покориться без рассуждений и сопротивления, потому что оно бесполезно; а поскольку единственное, что мне еще остается делать на земле,— это смотреть на себя, как на существо совершенно пассивное, я не должен растрчивать в бесполезном сопротивлении своей судьбе ту силу, что остается у меня для того, чтоб переносить ее. Вот что я себе говорил; мой разум, мое сердце соглашались с этим,— и все-таки я чувствовал, что сердце это еще ропщет. Чем был вызван его ропот? Я старался доискаться ответа и нашел: ропот был вызван самолюбием, которое, перестав негодовать на людей, вознегодовало теперь на разум.

Это открытие было сделано не так легко, как можно подумать, потому что невинно преследуемый долго принимает гордость своего незначительного существа за чистую любовь к справедливости. Но как только настоящий источник найден, его легко осушить или по крайней мере отвести. Самоуважение — главный двигатель гордых душ; богатое иллюзиями самолюбие принимает вид самоуважения и выдает себя за него; но когда подлог наконец обнаруживается и самолюбие уже не может спрятаться,— с этого мгновенья его нечего опасаться, и хоть задушить его нелегко, оно по крайней мере может быть без труда покорено.

Я никогда не отличался большой чувствительностью в отношении самолюбия. Но эта искусственная страсть обострилась у меня в свете, а особенно после того как я стал писателем; у меня ее было, пожалуй, меньше, чем у других, но все-таки чудовищно много. Полученные мной страшные уроки скоро ввели это чувство в прежние берега. Оно начало с того, что возмутилось против несправедливости, а кончилось тем, что стало ее презирать. Сосредоточившись в моей душе, разорвав внешние связи, которые делают его требовательным, отказавшись от сравнений, от предпочтений, — оно удовлетворилось тем, чтобы я был хорош для себя; став тогда любовью к себе, оно вернулось в разряд природных чувств и освободило меня от ига чужих мнений.

С тех пор я вернул себе душевный покой, даже почти блаженство. Потому что в каком положении не находишься, постоянно несчастен бываешь только из-за самолюбия. Когда оно молчит и говорит разум, — он в конце концов утешает нас в незаслуженных нами страданиях. Он даже уничтожает их настолько, что они перестают действовать на нас непосредственно; можно быть уверенным, что удастся избежать самых мучительных страданий, перестав обращать внимание на уколы самолюбия. Они ничто для того, кто о них не думает. Обида, месть, насилие, оскорбление, несправедливость — все ничто для того, кто видит в своих страданиях только страданье, а не намеренье причинить его, для того, чье место не зависит, на его собственный взгляд, от места, которое другие вздумают отводить ему. Как бы людям ни было угодно смотреть на меня, им не удастся изменить мое существо, и, несмотря на их

могущество, несмотря на их тайные интриги, я наперекор им буду по-прежнему тем, что я есть. Правда, их отношение ко мне оказывает влияние на мое действительное положение. Препятствие, которым они отгородились от меня, лишает меня всякого источника существования и помощи в моей старости и нуждах. Оно делает даже деньги бесполезными для меня,— поскольку я не могу приобрести на них необходимых мне услуг; и между людьми и мной нет ни общенья, ни взаимной поддержки, ни каких бы то ни было сношений. Одиноким среди них, я не имею никого, кроме себя, в качестве опоры,— а такая опора, да еще в моем возрасте и в том состоянии, в котором я нахожусь, очень слаба. Эти страдания велики, но они утратили всю свою власть надо мной с тех пор, как я научился переносить их, не выходя из себя. Минуты, в которые дает себя чувствовать действительная нужда, всегда редки. Предвиденье и воображение умножают их, и из-за этой-то неограниченности чувства человек беспокоится и становится несчастным. Что до меня, пусть я буду знать, что завтра меня ждет страданье, мне достаточно не испытывать его сегодня, чтоб оставаться спокойным. Меня огорчает не то зло, которое я предвижу, но то, которое я испытываю, а это сводит его к очень немногому. Одиноким, больной и всеми оставленный я могу умереть в своей постели от нищеты, холода и голода, и никто из-за этого не станет беспокоиться. Но не все ли мне равно, если сам я об этом не беспокоюсь и огорчаюсь своей участью не больше, чем другие, какова бы она ни была. Разве это ничего не значит — особенно в моем возрасте, — научиться смотреть на жизнь и смерть, на болезнь и здоровье, на богатство и бедность, на славу и клевету с одинаковым равнодушием? Другие старики беспокоятся обо всем; я не беспокоюсь ни о чем; что бы ни случилось, мне безразлично, и это безразличие порождено не моей мудростью, а моими врагами; и оно становится возмещеньем за причиняемые ими мне страдания. Сделав меня нечувствительным к превратностям судьбы, они оказали мне больше добра, чем если бы избавили меня от ее ударов. Не сталкиваясь с ней, я должен был бы всегда ее опасаться, тогда как, покорив ее, я ее не боюсь.

Это состоянье дает мне возможность среди трудностей моей жизни предаваться своей природной беззаботности почти так же

безраздельно, как если б я жил в величайшем благоденствии, за исключением кратких мгновений, когда наличие некоторых предметов воскрешает во мне самые мучительные тревоги; во все остальное время сердце мое, отданное моей природной склонностью во власть манящих привязанностей, еще питается теми чувствами, для которых оно рождено, и я наслаждаюсь ими вместе с воображаемыми существами, которые вызывают и разделяют их, будто существуют на самом деле. Они существуют для меня, создавшего их, и я не опасаюсь того, что они предадут меня или покинут. Они будут жить, пока длятся мои несчастья, и мне довольно будет их одних, чтоб эти несчастья забывать.

Все возвращает меня к жизни счастливой и отрадной, для которой я был рожден; три четверти своего времени я провожу либо в занятиях предметами поучительными и даже приятными, которым я с наслаждением отдаю свои мысли и чувства; либо с детищами моей фантазии, созданным мной по желанию моего сердца и общенье с которыми питает его; либо наедине с самим собой, в довольстве собою и в полноте счастья, как я чувствую, мной заслуженного. Во всем этом действует любовь к себе, а самолюбие здесь отсутствует. Но не так обстоит дело в те печальные минуты, которые мне еще случается проводить среди людей: я вновь становлюсь тогда игрушкой их предательских ласк, их напыщенных и нелепых похвал, их медоточивого коварства. Как бы я ни относился ко всему этому, самолюбие тут дает себя знать. Ненависть и вражда, которые я вижу в их сердцах сквозь эту грубую оболочку, раздирают мне сердце болью, а мысль о том, что меня так глупо обманывают, прибавляет еще к этой боли весьма ребяческую досаду — плод вздорного самолюбия; я чувствую его глупость, но не могу его подавить. Усилия, которые я делал, чтобы приучить себя к этим вызывающим и насмешливым взглядам,

невероятны. Сто раз проходил я по местам общественных прогулок и самых людных сборищ с единственной целью закалиться в этой мучительной борьбе. Мне не только не удалось это, но я даже не сумел сделать и шагу вперед; после всех своих тяжелых, но тщетных усилий я остался столь же беззащитен, как и раньше, перед теми, кто захочет огорчить, опечалить или рассердить меня.

Одолеваемый своими чувствами вопреки всему, я никогда не умел противиться их впечатлениям, и до тех пор пока предмет действует на них, сердце мое остается им затронуто; но эти преходящие переживания длятся не дольше, чем восприятие, их вызывающее. Присутствие человека злобного производит на меня сильнейшее действие; но как только он исчезает, это впечатление прекращается; в то мгновение, как я перестаю его видеть, я больше не думаю о нем. Пусть я буду знать, что он занят мной,— я уже не могу заниматься им. Зло, которого я не чувствую в данный момент, нисколько не тревожит меня; преследователь, которого я не вижу, для меня — ничто. Я понимаю, какое преимущество дает такое положение тем, кто распоряжается моей судьбой. Пусть их распоряжаются как хотят. Я предпочитаю не оказывать сопротивления моим мучителям, чем быть вынужденным думать о них, чтоб обезопасить себя от их ударов.

Это действие чувств на мое сердце составляет единственное мученье моей жизни. В тех местах, где я никого не вижу, я не думаю о своей участи. Я уже не чувствую ее, уже не страдаю. Я счастлив и доволен неизменно, безгранично. Но мне редко удастся избежать того или иного чувствительного удара; и когда я меньше всего об этом думаю, достаточно мне заметить какой-нибудь насмешливый жест, злобный взгляд, услышать какое-нибудь ядовитое слово, встретить какого-нибудь недоброжелателя, чтобы расстроиться. Единственное, что я могу в подобном случае сделать, это скорее забыть и бежать. Тревога моего сердца исчезает вместе с предметом, ее вызвавшим, и как только я остаюсь один, ко мне возвращается спокойствие. Если что меня еще и беспокоит тогда,— то лишь боязнь встретить на своем пути новый повод для огорченья. Это единственное мое страданье; но его довольно, чтобы разрушить мое счастье. Я живу в центре Парижа*. Выходя из дому на прогулку, я вздыхаю по деревне и одиночеству; но до них так далеко, что, прежде чем я получу возможность дышать полной грудью, мне встретятся по дороге тысячи предметов, от которых у меня сжимается сердце, и полдня пройдет в тревогах, прежде чем я достигну желанного приюта. Счастье еще, если мне дадут окончить свой путь. Мгновение, когда я ускользаю от сопутствия злых, восхитительно; как только я оказываюсь под деревьями, среди зелени, мне кажется, что я в земном

раю, и я испытываю такое сильное внутреннее наслаждение, как если б был счастливейшим из смертных.

Я отлично помню, что во время кратких периодов благополучия одинокие прогулки, приводящие меня теперь в такое восхищение, казались мне нелепыми и скучными. Когда я бывал у кого-нибудь за городом, потребность в движении и в свежем воздухе нередко наставляла меня уходить из дому одному, и потихоньку, словно вор, я шел гулять в парк или по окрестностям; однако я не только не находил там счастливого покоя, каким наслаждаюсь теперь, но нес туда волнение пустых мыслей, занимавших меня в гостинице; воспоминание об оставленном обществе следовало за мной. В одиночестве капризы самолюбия и светская сутолока омрачали для меня свежесть рощ и нарушали мир уединения. Напрасно бежал я в глубь лесов,— докучная толпа всюду следовала за мной и заслоняла от меня всю природу. Только после того как я отказался от общественных страстей и их печальной свиты, мне удалось обрести природу со всеми ее чарами.

Убедившись в невозможности сдерживать первые свои невольные порывы, я прекратил всякие усилия подавлять их. При каждом ударе кровь моя кипит, гнев и негодование овладевают всеми моими чувствами,— и я отдаю дань природе в виде этого первого взрыва, который все мои силы не могли бы остановить или отсрочить. Я стараюсь только предотвратить его последствия, прежде чем он будет иметь какой-нибудь результат. Сверкающие глаза, пылающее лицо, дрожь в теле, удушье и сердцебиение — все это явления телесного свойства, и рас-суждение тут не может помочь. Но после того как естество произвело этот первый взрыв, можно опять овладеть собой, мало-помалу придя в чувство; это-то я и старался делать — долгое время безуспешно, но под конец удачно. И теперь, перестав тратить силы на тщетное сопротивление, я жду, когда можно будет одержать победу, пустив в ход разум, потому что он обращается ко мне, только когда я в состоянии его услышать. Что я говорю! Увы! Мой разум? Я опять совершил бы большую ошибку, если б приписал ему честь этой победы,— потому что он не причастен к ней; все это тоже вызвано непостоянным темпераментом, который мечется под буйным ветром, но успокаивается, как только ветер

спадет; мой горячий нрав заставляет меня метаться, моя ленивая натура заставляет меня утихать. Я уступаю всем побуждениям минуты; всякий толчок сообщает мне резкое и быстрое движение; но как только толчка нет, движение прекращается; никакое внешнее влияние не действует на меня долго. Все случайности судьбы, все людские козни мало затрагивают человека такого склада. Чтобы причинить мне продолжительное страдание, надо было бы возобновлять мучение каждый миг. Потому что промежутки, как бы они ни были коротки, позволяют мне вернуться к самому себе. Я тот, каким желаю меня видеть люди, до тех пор пока они могут воздействовать на мои чувства, но в первое же мгновение передышки я опять становлюсь таким, каким создала меня природа. Что бы ни говорили, это, именно и есть самое устойчивое мое состояние, и благодаря ему я, наперекор судьбе, наслаждаюсь счастьем, для которого чувствую себя рожденным. Я описал это состояние в одной из своих прогулок. Оно до такой степени мне по душе, что я ничего не желаю, кроме того, чтоб оно продолжалось, и ничего не боюсь, кроме того, что оно может быть нарушено. Зло, причиненное мне людьми, нисколько меня не трогает; только боязнь того зла, которое они могут мне причинить, способна меня волновать. Но, уверенный, что у них уж нет нового способа, при помощи которого они могли бы вызвать во мне какое-нибудь постоянное чувство, я смеюсь над всеми их ухищрениями и наслаждаюсь сам собой наперекор им.

ПРОГУЛКА ДЕВЯТАЯ

Счастье — это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире. Все на земле — в непрерывном течении, которое не позволяет ничему принять постоянную форму. Все изменяется вокруг нас. Мы изменяемся сами, и никто не может быть уверен, что завтра будет любить то же, что любит сегодня. Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами. Будем же пользоваться душевным довольством, когда оно приходит, остережемся разрушать его по своей вине, но не будем обдумывать способов, как бы приковать его: мысли об этом — сущая глупость. Мне редко случалось видеть счастливых людей,— может быть,

даже вовсе не случалось; но я часто встречал довольные сердца, и из всего того, что поражало меня, именно они удовлетворяли меня больше всего. Мне кажется, что это — естественное последствие власти переживаний над моим внутренним миром. У счастья нет внешней вывески; чтобы узнать его присутствие, надо было бы уметь читать в сердце счастливого; а довольство видно в глазах, в осанке, в голосе, в поступи, и оно как бы сообщается тому, кто его замечает. Есть ли наслаждение отрадней, чем видеть, как целый народ предаётся веселью в праздничный день и как все сердца раскрываются в приветливых лучах радости, мимолетно, но ярко пронизывающих жизненные тучи?

Три дня тому назад явился ко мне г-н П. и со странной предупредительностью принес показать мне похвалу г-же Жофрен*, написанную г-ном д'Аламбером. Предложив мне прочесть со, он пород этим долго и раскатисто хохотал над нелепым злоупотреблением неологизмами и этом произведении и игривыми шутками, которыми оно, по его словам, полно. Он приступил к чтению, продолжая смеяться. Я слушал серьезно; видя, что и но следуя его примеру, он успокоился и перестал наконец смеяться. В самом длинном и надуманном разделе этого произведения речь шла о том, с каким удовольствием г-жа Жофрен смотрит на детей и заставляет их болтать. Автор основательно видел в этой склонности доказательство природной доброты. Но он на этом не останавливался и решительно обвинял в злобе и жестокости всех, кто не разделяет этого интереса к детям, причем договорился до утверждения, что если б опросить приговоренных к виселице или колесованы», то все они признались бы, что не любят детей. Такие соображенья в данной связи производили странное впечатление. Если даже допустить, что все это правда, подходящий ли был повод все это высказывать и нужно ли было осквернять похвалу достойной женщине образами казни и злодеев? Мне нетрудно было понять цель этого злостного притворства, и, когда г-н П. кончил чтение, я, отметив то, что мне показалось хорошим в похвале, прибавил, что у автора, когда он писал ее, в сердце было больше ненависти, чем любви.

На другой день стояла хорошая погода, хоть и было холодно; я решил пройтись до Военного

училища, рассчитывая найти там в садах мох в цвету. В пути я размышлял о вчерашнем посещении и о сочиненье г-на д'Аламбера, в котором — это было мне ясно — эпизодическая пристройка сделана отнюдь не без цели: одной предупредительности, с какой эта брошюра была мне доставлена,— мне, от которого все скрывают,— было достаточно, чтобы я понял, в кого тут метят. Я отдавал своих детей в Воспитательный дом. Этого было довольно, чтобы превратить меня в отца-изверга; а взлелеяв и распространив эту идею, из нее понемногу вывели и то очевидное следствие, что я ненавижу детей. Переходя мыслью от звена к звену всей цепи, я восхищался искусством, с которым человеческая изобретательность белое делает черным. Я не думаю, чтобы кто-нибудь больше меня любил смотреть, как малыши резвятся и играют вместе; часто на улице и во время прогулок я останавливаюсь, чтоб поглядеть на их шалости и игры с интересом, которого не вижу ни в ком. В тот самый день, когда ко мне явился г-н П., за час до его посещения, у меня были самые младшие дети моего хозяина, двое малышей Сусуа, из которых старшему было лет семь. Они подошли поцеловать меня так охотно, что, несмотря на разницу в возрасте, им, кажется, на самом деле у меня понравилось; а что до меня, то я ответил на их ласку с глубокой нежностью и был в восторге оттого, что мой старческий вид не оттолкнул их. Даже младший приблизился ко мне с таким явным удовольствием, что, еще больше ребенок, чем они, я уже чувствовал к нему особенную привязанность и, когда он уходил, жалел об этом так, словно он был мой.

Я понимаю, как легко бросить мне упрек за то, что я отдал своих детей в Воспитательный дом, и нетрудно при некотором старании изобразить меня отцом-извергом, ненавидящим детей. Между тем, бесспорно, наибольшую роль в этом поступке сыграла боязнь, что судьба их при всяком другом выходе почти неизбежно оказалась бы в тысячу раз хуже. Будь мне безразлично, что с ними станет, я, не имея возможности сам воспитывать их, должен был бы — в моем положении — предоставить их воспитание матери, которая их избаловала бы, и ее семье, которая превратила бы их в чудовищ. До сих пор содрогаюсь при мысли об этом. То, чем Магомет сделал Сеида*, — ничто в сравнении с тем, во что превратили бы их относительно меня, и ловушки,

расставлявшие мне в этом деле впоследствии, достаточно убеждают меня, что такое намеренье уже возникало. В то время я был, конечно, очень далек от того, чтобы подозревать об этих чудовищных умыслах; но я знал, что наименее гибельным для моих детей было отдать их к Воспитательный дом,— и поместил их туда. Я и дальше с еще меньшими колебаниями стал бы так поступать, если б понадобилось, и хорошо знаю, что ни один человек не может быть более нежным отцом, чем был бы я, если б только привычка помогла природе.

Если я сколько-нибудь усовершенствовался в понимании человеческого сердца, то это благодаря удовольствию, с которым смотрел на детей и наблюдал их. В годы молодости само это удовольствие отчасти мешало пониманию, потому что я играл с детьми так весело и с таким увлечением, что и не думал о том, чтоб изучать их. Но когда, состарившись, я увидел, что мой дряхлый вид беспокоит их, я предпочел отказаться от удовольствия общения с ними, чтобы не надоедать им, не омрачать их радости, и, ограничившись созерцанием их игр и маленьких проказ, нашел удовлетворенье за свою жертву в полученном путем наблюдений знании первых и правдивых движений человеческой природы, в которых все наши ученые, вместе взятые, ничего не понимают. Я оставил в своих сочиненьях доказательство того, что занимался таким изысканьем слишком тщательно, чтоб его можно было делать без удовольствия, и было бы, конечно, самой невероятной вещью на свете, если б «Элоиза» и «Эмиль» были созданы человеком, не любящим детей.

Я никогда не отличался ни остроумием, ни красноречием, но после моих несчастий язык мой и голова моя стали работать еще хуже. Мне одинаково не дается и мысль и подходящее слово, а ничто не требует большой обдуманности и выбора нужных выражений, чем разговор с ребенком. Еще больше увеличивает для меня эту трудность внимание посторонних слушателей, их толкования и значительность, которую они придают всему, что исходит от человека, писавшего специально для детей, а потому обязанного в беседе не говорить, а изрекать. Крайнее стеснение и неловкость, которые я за собой знаю, волнуют, смущают меня, и я чувствовал бы себя гораздо свободней перед каким-

нибудь азиатским монархом, чем перед бутузом, которого надо вызвать на болтовню.

Еще одно удерживает меня теперь вдали от детей, так что со времени своих несчастий я всегда смотрю на них с прежним удовольствием, но у меня уже нет с ними прежней непринужденности. Дети не любят старости. Зрелище разрушающейся человеческой природы кажется им безобразным. Отчуждение, которое я замечаю в них, раздирает мне сердце, и я предпочитаю воздерживаться от того, чтобы их ласкать, чем вызывать в них чувство неловкости или отвращения. Этот довод, способный действовать только на истинно любящие души, не существует для наших докторов и докторесс. Г-жа Жофрен очень мало беспокоилась о том, приятно ли детям бывать с ней,— лишь бы ей это было приятно. Но для меня такое удовольствие хуже, чем ничто: оно пропадает, если остается неразделенным, а я уже не в том положении и не в том возрасте, в которых мне случалось видеть, как детское сердечко раскрывается вместе с моим. Если б это могло еще происходить, такое удовольствие, став для меня более редким, было бы только сильнее; я очень хорошо понял это в то утро благодаря чувству, которое испытал, лаская маленьких Сусуа, — не только оттого, что их нянька не особенно мне нравилась и при ней мне не так приходилось следить за своими словами, но и оттого, что приветливый вид, с которым они подошли ко мне, не оставлял их, и мне показалось, что им нравится у меня и не скучно со мной.

О, если б мне еще выпало несколько мгновений чистых, сердечных ласк, хотя бы со стороны мальчугана в курточке; если б я мог только увидеть в чьих-нибудь глазах радость и довольство от общения со мной, за какие беды и страдания не вознаградили бы меня краткие, но нежные изливания моего сердца! И тогда я не должен был бы искать среди зверей благожелательного взгляда, в котором мне теперь отказывают в человеческом обществе. Об этом я могу судить по очень немногочисленным примерам, однако всегда дорогим моему воспоминанию. Вот один из них. При всяких других условиях я почти позабыл бы о нем, но он произвел на меня впечатление, ярко рисуящее мое бедственное положение.

Два года тому назад, отправившись на прогулку в сторону Новой Франции, я пошел дальше; потом, повернув налево и решив обойти вокруг Монмартра, прошел через деревню Клиньянкур*. Я шел в рассеянии, погруженный в мечты, не глядя по сторонам, как вдруг почувствовал, что кто-то обхватил мои колена. Смотрю и вижу маленького ребенка пяти-шести лет, который изо всех сил сжимает мне колени, глядя на меня с таким простым и ласковым выраженьем, что все во мне взволновалось. Я сказал себе: «Вот как обращались бы со мной мои дети!» Я поднял ребенка на руки, несколько раз поцеловал его в каком-то исступленьи — и продолжал свой путь. Иду и чувствую, что мне чего-то не хватает. Какая-то невольная потребность звала меня назад. Я упрекал себя за то, что так быстро оставил этого ребенка; в его поступке мне, без всякой видимой причины, чудилось какое-то внушеньи, которым не следовало бы пренебрегать. Наконец, уступив искушенью, возвращаюсь на то же место, бегу к ребенку, опять целую его и даю ему несколько монеток — купить нантерских хлебцев* у случайно проходившего торговца; и он уже начал у меня болтать; я спросил, чем занимается его отец; он показал мне, как отец набивает обручи на бочки; я уже собирался оставить ребенка, чтобы пойти поговорить с отцом, когда заметил, что меня опередил человек очень подозрительного вида, показавшийся мне одним из шпионов, беспрестанно рассылаемых за мной по пятам. Пока человек этот что-то шептал бочару на ухо, я видел, как взгляд последнего вперяется в меня с выражением, в котором не было ничего дружелюбного. От этого обстоятельства у меня тотчас сжалось сердце, и я оставил отца и ребенка с большей поспешностью, чем та, с которой вернулся по своим следам, и с куда менее приятным волненьем, изменившим мои чувства. Но с тех пор чувства эти нередко возвращались; я несколько раз проходил по Клиньянкуру в надежде опять увидеть того ребенка, но уже не видел ни его, ни его отца, и у меня осталось от этой встречи только довольно живое воспоминанье, к которому всегда примешиваются нежность и грусть — единственные чувства, еще проникающие иногда в мое сердце.

Во всем есть свое утешенье; мои удовольствия редки и кратки, но от этого я радуюсь им больше, чем если б они были мне привычны; я, так сказать,

пережевываю их путем частых воспоминаний. И как бы они ни были редки, будь они чисты и без примеси, я был бы, может быть, счастливей, чем при полном благоденствии. В крайней нищете не много нужно, чтобы считать себя богатым. Бродяга, найдя грош, больше радуется, чем богач, нашедший мешок с золотом. Люди стали бы смеяться, если б увидели, какое впечатление оставляют в душе моей малейшие наслаждения, которые мне удастся скрыть от своих преследователей. Одно из самых сладостных довелось мне испытать четыре или пять лет тому назад, и я не могу вспомнить о нем, не придя в восхищение оттого, что так хорошо им воспользовался.

Однажды, в воскресенье, мы с женой обедали у заставы Майо. После обеда мы прошли по Булонскому лесу до Мюэтты. Там мы сели на траву, в тень, и стали ждать захода солнца, чтобы вернуться не спеша через Пасси. Появилось десятка два маленьких девочек в сопровождении какой-то женщины, вроде монахини; одни из них сели, другие стали резвиться довольно близко от нас. Когда они играли, мимо проходил торговец вафлями со своим барабаном и вертушкой, ища желающих попытаться счастья. Я заметил, что девочкам очень хочется вафель, и две или три из них, у которых, видимо, было несколько лиаров, попросили разрешения сыграть. Пока надзирательница колебалась и возражала, я позвал вафельщика и сказал ему: «Дайте всем этим барышням по очереди вытянуть билет, а я заплачу за все». Эти слова вызвали во всей стайке радость, которая с лихвой вознаградила бы меня, если б я даже потратил все содержимое моего кошелька.

Видя, что они смущенно жмутся друг к другу, я, с одобренья надзирательницы, велел им всем выстроиться с одной стороны, а потом, по мере того как каждая вытянет билетик, переходить поодиночке на другую. Пустых билетов не было: на каждую из тех, которые ничего не выиграли, приходилось по крайней мере по одной вафле, так что ни одна из девочек не могла оказаться совсем обездоленной; но для того чтобы придать празднику еще больше веселья, я потихоньку велел вафельщику пустить в ход привычную свою ловкость, только в обратном направлении: чтобы выпадало как можно больше выигрышей — и сказал, что за все плачу.

Благодаря такой мере девочки выиграли около сотни вафель, хотя тянули только по одному разу; тут я был непреклонен, не желая ни поощрять злоупотреблений, ни оказывать предпочтений, которые вызвали бы недовольство. Получившим крупный выигрыш жена моя посоветовала поделиться с подругами, благодаря чему все вафли распределены были почти поровну, и радость сделалась всеобщей.

Я попросил и монахиню вытянуть билет, очень опасаясь, как бы она не отвергла презрительно мое предложение; она приняла его благосклонно, вытянула билет, как и пансионерки, и без церемоний взяла то, что ей выпало. Я был ей за это бесконечно благодарен и нашел в этом особую вежливость, которая очень мне понравилась: на мой взгляд, она лучше; жеманной учтивости. Во время всего этого эпизода было немало споров, вынесенных на мой суд, и дети, выступая передо мной по очереди со своими доказательствами, дали мне случай полюбоваться ими; хотя среди этих девочек не было ни одной хорошенькой, некоторые были так милы, что это заставляло забыть о том, что они некрасивы.

Мы расстались наконец, очень довольные друг другом, и этот день был одним из тех дней моей жизни, воспоминание о которых доставляет мне больше всего удовлетворенья. К тому же празднество оказалось неразрительным. За каких-нибудь тридцать су, которые оно мне стоило, все было удовлетворено больше чем на сто экю. Вот уж верно, что удовольствие не измеряется расходом и что радость больше дружит с лиарами, чем с луидорами! Я несколько раз возвращался па это место в тот же час, надеясь опять встретить ту же стайку, но так п не увидел ее больше.

Этот случай напоминает мне другой, приблизительно того же рода, воспоминанье о котором относится к гораздо более давнему времени. Дело было в тот несчастный период, когда, толкаясь среди богачей и литераторов, я бывал иногда вынужден разделять их плачевные удовольствия. Я был в Шевретте в день рождения хозяина дома; семья его собралась на торжество; и ради такого случая вся карусель шумных удовольствий была пущена в ход: Спектакли, празднества, фейерверки — ни на что не поскупилась. Не было времени перевести дух, и вместо веселья голова шла кругом.

После обеда все вышли подышать чистым воздухом в сад, где было что-то вроде ярмарки. Начались танцы; господа танцевали с крестьянками, но дамы соблюдали достоинство. Там торговали пряниками. Один молодой человек из нашей компании вздумал купить пряников и бросать их один за другим в толпу; господам показалось так приятно глядеть, как все это мужичье кидается, дерется, сбивает друг друга с ног, чтобы получить пряник, что все захотели доставить себе это удовольствие. И вот пряники летят направо и налево, а девки и парни бегают, валяются в кучу, калечат друг друга; всем это казалось очаровательным. Из ложного стыда я делал, как другие, хоть внутренне и не веселился, как они. Но скоро, наскучив опустошением своего кошелька ради того, чтобы люди давили друг друга, я покинул милую компанию и пошел один бродить по ярмарке. Разнообразие предметов долго привлекало меня. Я заметил, между прочим, пять или шесть маленьких савояров*, окружавших девочку с лотком, где еще оставалось с десяток жалких яблок, от которых она охотно избавилась бы. Со своей стороны савояры очень хотели бы ее от них избавить, но у них было только два или три лиара на всех, а на такие капиталы нельзя было наместить яблокам большого урона. Лоток был для них садом Гесперид, а сама девочка — драконом, его оберегающим. Я долго забавлялся, глядя на эту комедию; наконец я привел ее к развязке, заплатив девочке на яблоки и велев ей раздать их мальчишкам. Тогда мне довелось увидеть одно из самых сладостных зрелищ, какое только может обрадовать человеческое сердце: как радость, соединенная с детской невинностью, распространяется вокруг меня. Потому что даже зрители, увидев, разделили ее; а я, которому участие в ней обошлось так дешево, испытывал еще и радость от сознания, что она — дело моих рук.

Сравнивая это развлечение с теми, которые я только что оставил, я с удовлетворением почувствовал, до чего отличаются здоровые вкусы и естественные удовольствия от тех, что порождаются богатством и представляют собой издевательства и прихоти, порожденные презрением к человеку. Иначе какое же удовольствие можно получить при виде того, как люди, придавленные нищетой, целым стадом валяются в кучу, задыхаются, зверски калечат друг друга, для того чтоб жадно вырвать друг у друга

несколько кусков пряника, растоптанных и покрытых грязью?

Со своей стороны, хорошо обдумав вопрос о том, какого рода наслаждение испытываю я, доставляя людям удовольствие, я обнаружил, что удовольствие это заключается не столько в чувстве благодеяния, сколько в радости видеть довольные лица. Это зрелище полно для меня очарования, которое проникает в самое сердце, но является исключительно следствием восприятия. Если б я не видел удовлетворения, которое вызываю, то, даже будучи в нем уверен, я наслаждался бы им только наполовину. Чужая радость для меня — бескорыстное удовольствие, не зависящее от того участия, которое я мог в нем принимать. Потому-то всегда живо привлекало меня удовольствие видеть веселые лица на народных праздниках. Однако ожиданье этого часто оказывалось обманутым во Франции, где нация, считающая себя такой веселой, обнаруживает так мало веселья в своих забавах. Я когда-то довольно часто ходил в кабачки смотреть, как танцует там простой народ; но танцы его были так унылы, люди держались так печально, так неловко, что я уходил оттуда скорей расстроенный, чем довольный. А вот в Женеве и в Швейцарии, где смех не растрчивается беспрестанно в безумных и злых выходках, все на праздниках дышит внутренним довольством и весельем. Нищета лишена там своего безобразного облика. Роскошь тоже не показывает там своей наглости. Благополучие, братство, согласие располагают сердца к тому, чтобы раскрыться, и часто в восторгах невинной радости незнакомые подходят друг к другу, обнимаются и зовут друг друга вместе предаваться наслаждениям дня. Чтобы самому наслаждаться этими милыми праздниками, мне не надо принимать в них участия,— мне достаточно их видеть: видя их, я их разделяю, и среди стольких веселых лиц, я уверен, нет сердца более веселого, чем мое.

Хоть это только наслажденье от ощущения, причина его, конечно, нравственная, и доказательство этого в том, что то же самое зрелище не только неприятно и не нравится мне, но даже раздирает мне сердце и вызывает негодование, если я знаю, что признаки наслажденья и радости на лицах злых говорят лишь об их удовлетворенной злобе.

Одни только признаки невинной радости могут быть приятны моему сердцу. Признаки жестокого, насмешливого злорадства надрывают мне душу и огорчают меня, хотя бы даже оно и не имело никакого отношения ко мне. Признаки радости злобной и радости невинной, без сомнения, не могут быть в точности одинаковы, поскольку они вытекают из разных начал; но как бы то ни было,— это в одинаковой мере признаки радости, и внешние их различия, конечно, не пропорциональны различиям в тех душевных движениях, которые они во мне вызывают.

Признаки боли и страдания для меня еще чувствительней,— до такой степени, что я не могу видеть их без того, чтоб самому не испытать потрясения, быть может еще сильнее, чем то, которое они выражают. Воображение, усиливая восприятие, отождествляет меня со страдающим существом и нередко причиняет мне большее терзанье, чем испытывает оно само. Лицо недовольное — тоже невыносимое для меня зрелище, особенно если у меня есть основания думать, что недовольство это имеет отношение ко мне. Я и сказать не могу, сколько брюзгливый и угрюмый вид лакеев, прислуживающих с неудовольствием, вырвал у меня монет в домах знатных людей, куда в прежние времена меня по глупости моей умели заманивать и где слуги всегда заставляли меня очень дорого платить за гостеприимство их хозяев. Слишком сильно задевали меня всегда явления, затрагивающие чувство, особенно те, которые отмечены знаком наслаждения или страдания, доброжелательства или неприязни; я даю себя увлечь этим внешним впечатлением, никогда не умея уклониться от них иначе, как при помощи бегства. Знака, движенья, взгляда неизвестного человека достаточно, чтобы нарушить мое удовольствие или успокоить мои страдания. Я принадлежу себе только наедине с собой; среди людей — я игрушки окружающих.

Когда-то я с удовольствием жил в свете, не видя в глазах окружающих ничего, кроме доброжелательства или, самое большое, безразличия у тех, кто не знал меня; но теперь, когда стараются столько же выставить меня напоказ, сколько скрыть от народа мое подлинное существо, я по могу выйти на улицу. без того, чтоб тотчас не увидеть себя

окруженным мучительными предметами. Я ускоряю шаг, спешу выйти за город; как только я вижу зелень, я начинаю дышать свободно. Нужно ли удивляться, что я люблю одиночество? На лицах людей я не вижу ничего, кроме вражды, а природа всегда улыбается мне.

Все-таки,— нужно признаться,— я еще испытываю радость, живя среди людей, пока они не знают меня в лицо. Но этой радостью мне не дают пользоваться. Еще несколько лет тому назад я любил проходить утром по деревне и смотреть на земледельцев, которые чинят свои цепи, или на женщин, сидящих у дверей с детьми на руках. В этом зрелище было что-то такое, что трогало мое сердце. Иногда, сам того не замечая, я останавливался, глядел на жите-бытье этих добрых людей и чувствовал, что вздыхаю, не зная почему. Не могу сказать, видели ли меня растроганным этим маленьким удовольствием и захотели тоже отнять его у меня,— но из того, как изменяется выражение лиц, когда я прохожу теперь по деревне, и из того, как па меня смотрят, я поневоле должен заключить, что мое инкогнито постарались раскрыть. То же самое случилось со мной, еще более явно, у Дома инвалидов*. Это прекрасное учреждение всегда интересовало меня. Я не могу смотреть без умиления и благоговения на эти группы добрых старцев, которые, подобно старцам Лакедемона*, могут сказать:

В прошлом каждый здесь умел

Бить врага,— и юн и смел.

Одним из любимых моих удовольствий было бродить во время прогулки вокруг Военной школы; мне приятно было порой встречать по пути инвалидов, которые, сохранив прежнюю вежливость поенных людей, проходя мимо, кланялись мне. Этот поклон, который сердце мое возвращало им сторицей, был мне приятен и увеличивал удовольствие, испытываемое при виде их. Так как я по умею скрывать ничего, что меня трогает, я часто говорил об инвалидах и о впечатлении, которое они производят на меня. Этого было довольно. Через некоторое время я заметил, что я для них уже не незнакомец или, скорей, что я стал для них еще

большим незнакомцем,— потому что они теперь смотрят на меня теми же глазами, что и публика. Куда девалась вежливость, куда девались приветствия? Неприязненный вид, уклончивый взгляд пришли на смену их первоначальной учтивости. Так как прежняя, свойственная военным, прямота не позволяет им, подобно другим, прикрывать свою враждебность предательски усмехающейся маской, они совершенно открыто выказывают сильнейшую ненависть ко мне; и такова безмерность моего несчастья, что я вынужден испытывать уважение к тем, кто не скрывает от меня своей ненависти.

С тех пор я уже менее охотно хожу гулять в сторону Дома инвалидов; но так как мои чувства к ним не зависят от их чувств ко мне, я всегда с уважением и интересом смотрю на этих престарелых защитников своей родины, хотя мне очень тяжело видеть, как дурно платят они мне за то, что я воздаю им должное. Когда я случайно встречаю кого-нибудь из них, кто не получил соответствующих инструкций или кто, не зная меня в лицо, не обнаруживает никакого отвращения ко мне, вежливое приветствие его вознаграждает меня за неласковое обращение остальных. Я забываю о них, чтобы думать только о нем; я воображаю, что его душа похожа на мою и также недоступна для ненависти. Я испытал это удовольствие еще год тому назад, когда переправлялся в лодке на Лебединый остров, чтоб погулять там. Какой-то бедняга инвалид сидел в ней, ожидая попутчика для переправы. Я сел в лодку и велел лодочнику отчаливать. Было волнение, и переправа оказалась продолжительной. Я едва решался сказать инвалиду слово, из боязни встретить грубость и отпор, как обычно; но его любезный вид ободрил меня. Мы разговорились. Он показался мне человеком разумным и порядочным. Я был удивлен и очарован его открытым, приветливым обращением. Я по привычке к такой обходительности. Удивление мое кончилось, когда я узнал, что он только что приехал из провинции. Я понял, что ему еще не указали на меня и не дали инструкций. Я воспользовался своим инкогнито, чтобы побеседовать несколько мгновений с человеком, и понял по той радости, которую при этом испытал, до какой степени редкость удовольствий, даже самых обычных, может увеличить их цену. Выйдя на берег, инвалид вынул

из кошелька два своих жалких лиара. Я заплатил за перевоз и попросил его спрятать их, дрожа от страха, как бы он не возмутился. Этого не произошло; напротив, старик, казалось, был тронут моим вниманием, а особенно тем, что я помог ему выйти из лодки, так как он был старше меня. Кто поверит, что из-за этого я плакал от радости как ребенок? Я умирал от желания вложить ему в руку монету в двадцать четыре су — на табак; я так и не посмел. Тот же стыд, удержавший меня тогда, часто мешал мне делать добрые дела, которые наполнили бы меня радостью и от которых я воздерживался, оплакивая потом свою глупость. На этот раз, простившись со своим старым инвалидом, я скоро утешился мыслью, что поступил бы, так сказать, против собственных принципов, примешивая к учтивому поступку деньги, унижающие благородство этих принципов и оскверняющие их бескорыстие. Надо спешить на помощь тем, кто в пей нуждается; но в повседневном течении жизни предоставим естественной благожелательности и учтивости делать свое дело, не допуская, чтобы что бы то ни было продажное и мелочное осмелилось приблизиться к такому чистому источнику и отклоняло его течение или загрязняло его. Говорят, в Голландии люди требуют платы, если скажут вам, который час или укажут дорогу. Должно быть, это презренный народ, если он торгует самыми простыми обязанностями человека.

Я заметил, что в одной только Европе гостеприимство продается. По всей Азии вам оказывают приют бесплатно. Я понимаю, что там не так легко найти все удобства. Но разве это ничего не значит — иметь возможность сказать себе: «Я человек, и меня принимают у себя люди; они дают мне кров из чистого чувства человечности». Нетрудно перенести мелкие лишения, если сердцу оказывают лучший прием, чем телу.

ПРОГУЛКА ДЕСЯТАЯ

Сегодня, в вербное вокресенье*, исполнилось ровно пятьдесят лет с того дня, как я впервые встретился с г-жой де Варане. Ей было тогда двадцать восемь лет: она родилась вместе с веком. Мне еще не было семнадцати, и моя

пробуждающаяся чувственность, о которой я пока сам не знал, сообщала новый жар сердцу, от природы полному жизни. Если было не удивительно, что она отнеслась благосклонно к юноше живому, но тихому и скромному, наружности довольно приятной, то еще менее удивительно было то, что женщина очаровательная, полная ума и грации, вызвала во мне вместе с благодарностью чувства более нежные, чем я сам умел понять? Но менее обычно то, что это первое мгновение встречи решило мою участь на всю жизнь и, посредством неустранимого сцепленья обстоятельств, предопределило всю мою судьбу до конца дней. Душа моя, самые драгоценные способности которой еще не успели развиться, не имела тогда сколько-нибудь определенной формы. Она ждала в каком-то нетерпенье того мига, который должен был дать ей эту форму, но миг этот, хоть и ускоренный этой встречей, все же наступил не так быстро; и при той простоте души, которую мне сообщило воспитанье, для меня надолго сохранилось восхитительное, но обычно быстролетное состоянье, когда любовь и невинность живут в одном сердце. Она меня отдалила. Все звало меня обратно к ней. И я вернулся. Это возвращенье определило мою судьбу, и еще задолго до того, как она стала моей, я жил только ею и для нее. Ах, если б ее сердцу было довольно одного меня, как моему было довольно ее одной! Какие тихие, восхитительные дни потекли бы для нас вдвоем! Мы знали такие дни, но как они были коротки и быстротечны и какая участь сменила их! Не проходит дня, чтоб я не вспоминал с восторгом и умилением это неповторимое и короткое время моей жизни, когда я во всем был самым собой, без примеси и без помех, и о котором действительно могу сказать, что тогда я жил. Я могу сказать почти как тот начальник преторианцев, который, впад в немилость у Веспасиана, отправился мирно доживать свой век в деревню: «Семьдесят лет провел я на земле, а жил только семь». Без этого короткого, но драгоценного периода я, быть может, так и не узнал бы себя, потому что во всю остальную свою жизнь, покладистый и уступчивый, я был до такой степени волнуем, колеблем, терзаем чужими страстями, что, будучи почти бездейственным в такой бурной жизни, с трудом разобрал бы, что в моем собственном поведении действительно моего,— настолько жестокая необходимость не переставая угнетала меня. Но в те немногие годы, любимый женщиной,

полной снисходительности и нежности, я делал, что хотел, был тем, чем хотел быть, и благодаря тому употреблению, которое дал своим досугам, поддержанный ее наставленьями и примером, я сумел придать своей еще простой и нетронутой душе наиболее подходящую ей форму, которую она сохранила навсегда. Склонность к одиночеству и созерцанию родилась в моем сердце вместе с доверчивыми и нежными чувствами, созданными для того, чтобы ее питать. Сутолока и шум подавляют и душат их, мир и покой оживляют их и возбуждают. Мне нужно уйти в себя, чтобы любить. Я уговорил маменьку поселиться в деревне. Уединенный дом на склоне холма был нашим приютом, и там, в пределах четырех-пяти лет, я наслаждался целым веком жизни и счастья, чистым и полным, скрашивающим своим очарованием все, что есть ужасного в моем теперешнем положении. Мне нужна была подруга по сердцу — я имел ее. Я желал жить в деревне — я достиг этого. Я не мог вынести принуждения — я был совершенно свободен, и даже лучше, чем свободен, потому что, принуждаемый только своей привязанностью, я делал лишь то, что хотел делать. Все мое время было заполнено нежными заботами или сельскими занятиями. Я ничего не желал, кроме продолженья столь сладостного состоянья; единственным моим страданьем было опасенье, что оно недолго продлится; и опасенье это, порождаемое стесненностью наших обстоятельств, было не лишено оснований. С тех пор я стал мечтать о каком-нибудь занятии, которое отвлекло бы меня от этой тревоги и вместе с тем оказалось средством предотвратить нищету. Я придумал, что мне надо развивать в себе таланты «впрок», вообразив, что это верное средство против нищеты, и решил употребить на это свои досуги, надеясь, что стану когда-нибудь способным оказать лучшей из женщин ту помощь, которую получал от нее.....

Примечания

«Прогулки одинокого мечтателя» написаны Руссо в 1771—1778 гг. и завершают серию его автобиографических произведений, состоящих из

«Исповеди», «Диалогов. Руссо — судья Жан-Жака» и, наконец, «Прогулок». Рукописей «Прогулок одинокого мечтателя» не сохранилось.

Стр. 574. «Диалоги» написаны Руссо в 1772—1776 гг. в Париже, после долгих скитаний (Швейцария, Англии, затем Флери, Три, Гренобль, Макен во Франции) и запрета чтения «Исповеди». Наряду с ценными страницами они содержат многое, что должно быть приписано удрученному состоянию автора в результате пережитых гонений.

Стр. 579. Менильмонтан и Шаронна—в XVIII в. деревни близ Парижа; в настоящее время — его районы.

Стр. 581. Атлас — горы в Северной Африке.

Стр. 582. Г-н *** ...прислал своего секретаря...— Речь, по-видимому, идет о г-не де Сем-Фаржо, владельце злополучной собаки и кареты, от которой Руссо пострадал.

Г-жа *** ...заискивала передо мной.— Руссо имеет в виду г-жу д'Ормуа, автора ряда давно забытых романов и мелких произведений; первый ее роман, о котором идет речь,— «Несчастия юной Эмили»,— появился в 1777 г.

Стр. 581. «Авиньонский курьер» — газета, издававшаяся в 1733—1794 гг. в г. Авиньоне и имевшая большое распространение в Южной Франции и Италии; в эпоху Руссо она находилась под влиянием иезуитов.

Стр. 585. Солон (ок. 638 — ок. 559 гг. до н. э.) — древнегреческий мыслитель и афинский законодатель.

Стр. 597. Аббат Р.— Подразумевается Ройу, один из главных сотрудников журнала «Литературный год», после смерти Фрерона продолжавший травлю, поднятую последним против энциклопедистов. Эпиграф на титульном листе книги Ройу: «Посвятившему жизнь истине», является ядовитым намеком на изречение «Посвятить жизнь истине» (*Vitam impendere vero*), которое Руссо взял себе в качестве девиза, заимствовав его у латинского поэта I в. п. э. Ювеиала (сатира IV).

«Познай самого себя» Дельфийского храма...— Храм Аполлона в древнегреческом городе Дельфы имел на фронте надпись: «Познай самого себя».

...ужасный обман, совершенный мной в ранней юности...— См. «Исповедь», кн. II, стр. 79—82.

Стр. 602. «Книдский храм» (1725) — эротическая поэма Монтескье, игравшая в его творчестве случайную роль.

Стр. 608. Паки — местность возле Женевы.

Каландр — машина для отделки тканей, состоящая из нескольких вращающихся цилиндров.

Стр. 609. Я играл в Плен-Пале в шары...— Плен-Пале — пригород Женевы. Игра в шары — нечто вроде крокета.

Стр. 614. «Systema naturae» («Система природы») — главное сочинение Линнея (см. прим. к стр. 557), охватывающее систематику всех трех царств природы.

Стр. 619. Бьевра — маленькая речка в окрестностях Парижа. Жантийи — село на ее берегу.

Стр. 620. Фонтенбло — ныне город близ Парнаса.

Стр. 626. Кольцо Гигеса.— По древнегреческому мифу, в Лидии (Малая Азия) жил пастух Гигес, обладавший золотым кольцом, при помощи которого он мог делаться невидимкой.

Стр. 627. «Золотая легенда» — сборник легендарных житий святых, составленный в XIII в. Жаком де Воражином.

Стр. 631. Теофраст (ок. 372—287 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, автор «Характеров», представляющих собой первое собрание психологических портретов; в качестве естествоиспытателя написал пятитомную «Историю растений», положив основание ботанике.

Диоскорид — знаменитый древнегреческий врач и ботаник (I в. п. э.), в своих описаниях растений особое внимание обращавший на их целебные свойства, как они понимались в то время.

Стр. 639. Английские сады.— В отличие от французских правильно распланированных и аккуратно подстриженных садов XVIII в. английские были свободно растущими.

Стр. 640. Дофинуазское смирение.— Экскурсия происходила в провинции Дофине.

Стр. 648. Я живу в центре Парижа.— В эпоху написания «Прогулок» Руссо жил в Париже на улице

Плятриер под негласным надзором полиции, запретившей ему публичные выступления.

Стр. 651. Г-жа Жофрен — выдающаяся женщина XVIII в., салон которой был одним из центров энциклопедистов. Похвала г-же Жофрен написана д'Аламбером в форме двух писем к философу Кондорсе, не имеющих какого-либо заглавия.

Стр. 652. То, чем Магомет сделал Сеида...— В истолковании Вольтера (трагедия «Магомет») основатель мусульманской религии Магомет (571—632 гг. н. э.) воспитал своего раба Сеида в духе фанатизма и непримиримой ненависти к иноверцам.

Стр. 654. Монмартр и Клиньянкур — в настоящее время кварталы Парижа; в эпоху Руссо были пригородными деревнями.

Пантерские хлебцы — название пряников.

Стр. 657. Савояр.— Мальчики-савояры, то есть уроженцы Савойи (см. прим. к стр. 45), показывали ученых сурков во французских деревнях, на ярмарках и гуляньях.

Сад Гесперид.— См. прим. к стр. 35.

Стр. 659. Дом инвалидов.— Дом инвалидов был сооружен при Людовике XIV как приют «для престарелых и увечных воинов французской армии». Здание это, возведенное архитекторами Либераль-Брюаном и [Текст обрывается, так как страница книги утеряна].